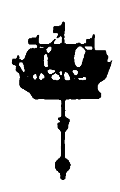
Кирилл Косцинский



В тени Большого дома



Кирилл Косцинский

В тени Большого дома

ВОСПОМИНАНИЯ

Составление и подготовка текста ЕЛЕНЫ ГЕССЕН

Эрмитаж

1987

Кирилл Косцинский

В ТЕНИ БОЛЬШОГО ДОМА

Воспоминания. Составление и подготовка текста Елены Гессен

Kirill Kostsinskii

V TENI BOL'SHOGO DOMA (*In the Shadow of the Big House*)
Memoirs. Compiled and edited by Elena Gessen

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Kostŝinskiĭ, Kirill, 1915-1984.
V teni bol′shogo doma.

Title on verso of t.p.: In the shadow of the big house.
1. Kostŝinskiĭ, Kirill, 1915-1984. 2. Authors, Russian--20th century--Biography. I. Gessen, Elena. II. Title. III. Title: In the shadow of the big house.
PG3549.K634Z478 1987 891.78'4409 [B] 87-22790
ISBN 0-938920-91-X (pbk.)

На обложке – здание Ленинградского КГБ, расположенное
на углу Литейного проспекта и улицы Войнова (постр. в 1932 г.)

Published by HERMITAGE
P. O. Box 410
Tenafly, N. J. 07670, U. S. A.

ПАМЯТИ УШЕДШЕГО ДРУГА

ПРОФЕССОР АДАМ УЛАМ:

Когда в 1979 году Кирилл появился в Русском научном центре при Гарвардском университете, ему было уже за шестьдесят. В этом возрасте трудно менять образ жизни и привычки. Но он удивительно быстро освоился в Центре (что, кстати, – позволю себе нескромное замечание – говорит в пользу этого учреждения) и почувствовал себя среди нас как дома. Все мы любили и уважали его. В нашей памяти он остался не только как удивительно милый и симпатичный человек – он значил для нас больше: это был настоящий представитель той гуманной и гуманистичной традиции русской интеллигенции, которую не смогли вытравить годы преследований и тюрьмы.

Почти каждое утро, около одиннадцати, научные сотрудники Центра устраивают небольшой перерыв в работе, собираясь в гостиной выпить кофе и поболтать. Я все еще вижу, как Кирилл сидит в кресле, углубясь в газету, но не упуская при этом ни слова из клубящихся вокруг него разговоров. Вдруг что-то привлекает его внимание, и он отрывается от газеты, чтобы принять участие в беседе, рассказать какой-нибудь случай из собственной жизни.

А жизнь у него была необыкновенно яркая. Бывшие советские граждане в нашем Центре не редкость, но Кирилл выделялся среди них. Он на собственном опыте познал то, что, мягко говоря, можно назвать наименее привлекательными чертами жизни в СССР: допросы в органах госбезопасности, тюрьму и лагерь. Конечно, были у него и не столь мрачные воспоминания: жизнь в Ленинграде, участие в Отечественной войне, редкостная атмосфера товарищества в интеллигентских диссидентских кругах... Все вместе складывалось в удивительно интересную жизнь, и Кирилл обладал редким даром одним штрихом, без пафоса и преувеличений дать точный и емкий портрет какой-нибудь стороны советской действительности. И хотя все мы

с нетерпением ожидали завершения его гигантского проекта – составления "Словаря русской ненормативной лексики", – многие из нас считали, что ему надо писать мемуары. Когда ему говорили об этом, он всегда отвечал, что, конечно, возьмется за книгу – как только кончит словарь. Но ему не хватило времени...

Он проводил четкое различие между советской властью и народом его родной страны, никогда не ставя между ними знак равенства. Полюбив свой новый дом, он не перестал быть русским патриотом. Столь трудная жизнь, как у него, кого угодно могла бы превратить в пессимиста – но наш русский друг любил порассуждать о превратностях судьбы, о том, как даже в самых безнадежных обстоятельствах, даже в Советском Союзе удача может неожиданно улыбнуться человеку. Как дорого дали бы мы, чтобы услышать полный рассказ о его жизни в те страшные для советского народа годы. Ведь мало кто мог бы поведать о них столько, сколько Кирилл. Но скромность была для него так же органична, как и смелость. Однако все те, кому довелось знать его, видели его высокие человеческие качества и понимали, какие ценности он отстаивает.

Перевод Е. Гессен

ИГОРЬ ЕФИМОВ:

Впервые я попал в дом писателя Косцинского в начале 1960 года. Привел приятель из ленинградских литературных трущоб. Что-то читали, выпивали. Не помню, что говорил Кирилл, но отчетливо помню покалывающее, дух спирающее чувство в груди, ощущение недозволенности происходящего. Т а к говорить вслух, при посторонних было в те годы нельзя. А он говорил – легко, чуть посмеиваясь, не бравируя, но все же получая явное, забытое всеми нами удовольствие – удовольствие от раскованной, безоглядной человеческой речи.

За это его и взяли. Следователи потом выстраивали сложную систему доказательств, ломали свидетелей – бывших друзей, – чтоб те подтвердили "распространение произведений, порочащих советский строй". Но на "распространение" тогда

в общем-то смотрели сквозь пальцы. Кирилл же был возмутительным примером того, что даже под властью КГБ можно жить и не трястись с утра до вечера. Что можно говорить что думаешь и про то, что болит. Просто у них не было подходящего закона, чтобы судить прямо за это. Зато подслушивающая аппаратура уже была и вполне приличного качества (кажется, американская). Так что все его разговоры они слышали, и им было ясно: такого надо брать даже в эпоху "позднего реабилитанса".

Вернувшись в Ленинград из лагеря, он стал неумело осторожничать. Например, для важных переговоров уводил гостя из квартиры, прогуливался с ним по набережной канала. Я протестовал, пытался доказывать, что таким способом он ясно показывает шпикам, с кем из своих знакомых он занимается "грязной антисоветчиной", а с кем – нет. И что держать при этом в руках портфель, набитый запрещенной литературой, уж совсем глупо. Он только цыкал на меня, обзывал "вольняшкой", ничего не понимающим в конспирации.

При всех этих уловках, он не мог удержаться от прежних выходок. Вот он встречает в Союзе писателей знакомого, который пытается не заметить его, проскользнуть мимо бывшего лагерника. "Эй, Аркадий, – кричит Кирилл через весь зал. – Ты Би-Би-Си вчера слушал? Как там? Синай уже наш или нет?" И знакомый растекался по стенке бело-розовым пятном.

Он уже во всю работал над своим словарем. Его интересовали все слои, все области, все задворки жаргона. Узнав, что я поигрываю в карты, выцедил и из меня несколько картежных терминов, которых не было у него в картотеке.

Бранные слова, сделавшись объектом научного изучения, утратили в его глазах свою отверженность, и он научился произносить их с беспримерной ясностью и изяществом.

Вспоминаю, в связи с этим, такой эпизод. Мы оба подрабатываем на Ленфильме, готовя тексты для дублирования иностранных картин. Нужно было, чтобы русские слова вписывались в движения заграничных губ. В мою студию вбегает взбешенная режисерша дубляжа.

– Игорь, спасай! Кирилл, бандит, смену кончил и смылся, и погляди, что он мне оставил!

На экране начинает крутиться двадцатисекундное кольцо

из "Майерлинга". Снова и снова император Иосиф уговаривает своего сына (Омар Шериф) не жениться на простой чешке, снова и снова повторяет, что дети их будут не Габсбурги, а какие-то bastards! Эта губная "б" и следующая за ней "а" видны так отчетливо под усами Джеймса Мэсона. И что же сделал злодей Косцинский? Вписал в текст слово из своего словаря – "выблядки".

– Я не могу выпустить ленту с таким словом, – плачет режиссерша.

Что тут можно придумать? Сказать "бастарды"? Многомиллионный советский кинозритель не знает этого слова. "Незаконнорожденные"? Не вмещается по длине, нет губных звуков. Поломав голову, я совершаю очередную трусливую уступку цензуре и предлагаю слово "па́рии". Осчастливленная режиссерша убегает. Кирилл при встрече обливает меня презрением и насмешками.

И снова через его квартиру на канале Грибоедова потоком идут иностранцы. Приносят книги и журналы, уносят фотопленки с текстами словаря, с романами, пьесами, статьями, стихами друзей Кирилла.

– У тебя есть канал на Запад? – спрашивает меня кто-нибудь из приятелей, отчаявшихся "пробить" (слово из словаря Косцинского) свои вещи в ленинградских редакциях. Я вспоминаю прокуренную, промикрофоненную, перегороженную книжными стенами квартиру Кирилла и с гордостью говорю: "Есть".

Чтобы позакрывать эти каналы, власти начали выкуривать диссидентов из страны. В 1978 г. настала очередь Кирилла. Да и у меня к тому времени набралось достаточно причин для отъезда. Мы гуляли по Вене, он показывал мне места боев, соскальзывал на свои любимые солдатские истории, потом бежал на почтамт и ликовал, получив от кого-нибудь из иностранных своих "связных" очередной рулончик пленки с пометкой: "От Д до З".

Словарь можно было издать уже тогда, в начале 1980-х. Но Косцинский все не мог остановиться, все улучшал, добавлял, уточнял, редактировал гигантскую рукопись. Если словарь наконец выйдет – а надежда на это появилась, – он займет 2 тома по 800 страниц каждый. И кто знает – быть может, "гласность" в России дойдет до того, что реальный язык, на котором говорил

многомиллионный народ в годы советской власти, перестанет быть тайной, и плод двадцатилетнего труда Кирилла Косцинского получит доступ даже на полки московских и ленинградских библиотек.

ВАЛЕНТИН И ТАТЬЯНА ТУРЧИНЫ

Мы познакомились с Кириллом, когда была выставка американских издательств в Москве (1977 г.). Алик и Арина Гинзбурги сказали нам, что приехала большая группа американских журналистов, и в том числе несколько дикторов с радиостанции "Голос Америки", и они хотели бы встретиться с инакомыслящими. Решили, что лучше всего это сделать у нас на квартире. Пришло очень много народу. Пришли также Арина и Алик и привели своего друга Кирилла Косцинского, который в эти дни приехал к ним из Ленинграда. Он выглядел немолодым, но был такой жизнерадостный, быстрый в движениях, даже какой-то прыгливый, с очень молодым голосом (хотя и глуховатым). Он хорошо говорил по-английски. Впрочем, многие из гостей говорили по-русски. В конце вечера он, уходя, пригласил нас к себе в гости в Лениггрaд, обещал показать нам "Достоевские места". Приглашение звучало так дружелюбно и искренне, что мы не забыли о нем. Когда нам дали разрешение на выезд, мы решили съездить дня на три в Ленинград. Списались с Кириллом и поехали.

Встретил он нас, как своих давних друзей, и сразу было ощущение, что приехал в очень гостеприимный дом, где тебе будет хорошо и удобно. На второй день мы отправились в большую экскурсию по Ленинграду — такому, о котором мы и не подозревали. Мы бродили по каким-то улицам, заходили в ленинградские дворы. Здесь жила старуха-процентщица, а здесь — сам Достоевский. По этой улице Раскольников шел на свое черное дело, по этой лестнице поднимался, пряча топор под полой. А на этой площади происходила казнь Достоевского: вот тут он стоял, а потом отсюда выехал царский гонец с помилованием. И все это рассказывалось так живо, что порой мороз пробегал по коже.

Вечерами мы сидели за столом, пили чай по-ленинградски из прекрасных чашек. Кирилл нам рассказывал о своей работе над словарем – у него в кабинете стояла высокая тумбочка, вся забитая карточками. Иногда он доставал какую-нибудь и зачитывал нам разные слова и их значение. Мы тоже внесли свою лепту. Например, с наших слов он записал слово "моцарт". Так в Москве называли машины КГБ, потому что их номера начинались с букв МОЦ. Запомнилось ощущение этой огромной ленинградской квартиры (кажется, раньше она вся принадлежала родителям Кирилла), с множеством соседей, со старинными вещами, еще сохранявшими аромат старого Петербурга.

Приехав в Америку, Кирилл навестил нас в Нью-Йорке. Он только что получил приглашение в Гарвард и с таким воодушевлением рассказывал нам, как будет работать там и сможет, наконец, довести до конца свою работу над словарем. И был он все такой же молодой и быстрый.

Таким мы его и запомним.

НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ...

В чьих бы руках ни была власть, — за мною остается мое человеческое право отнестись к ней критически.

М. Горький. *Несвоевременные мысли*

1

У Горького есть где-то примечательное высказывание: "Каждый русский интеллигент, проведший несколько часов в полицейском участке, считает своим долгом написать воспоминания", — фраза злая и достойная Горького лишь в его роли зачинателя социалистического реализма.

Характерной особенностью русской литературы и общественной мысли является их постоянная связь с тюрьмой. Начиная с Радищева великое множество российский литераторов познакомились с отечественной пенитенциарной системой в условиях куда как менее комфортабельных, чем этнограф С. В. Максимов, беллетрист А. П. Чехов, фельетонист В. М. Дорошевич или те советские писатели, которые совершили в 1933 г. плавание по только что открытому Беломорканалу.

Мне тоже довелось стать "человеком за решеткой" — так называлась статья, опубликованная в "Советской России" в 1960 году, положившая конец процессу либерализации тюремных порядков и давшая толчок новому "закручиванию гаек", в некоторых отношениях оставившему позади то, что происходило в эпоху так называемого "культа личности".

Все началось совершенно неожиданно... Впрочем, будь я внимательнее, не потеряй я "бдительность" после

* Впервые напечатано в альманахе "Память" № 5, 1982 г.

XX съезда КПСС, я, возможно, заметил бы некоторые признаки надвигающейся грозы: в апреле или мае 1956 г., когда в Ленинградском отделении Союза писателей зачитывался "секретный доклад" Хрущева, я был единственным литератором, который не был допущен на это чтение (парадоксально, но я слушал этот доклад вместе с дворниками и домохозяйками дома, в котором жил); время от времени к А. А. Прокофьеву, тогдашнему ответственному секретарю ленинградской писательской организации, поступали доносы, очевидно в копиях, так как позднее выяснилось, что КГБ было хорошо осведомлено о них (авторами двух из этих доносов были ленинградский поэт "от станка" Михаил Сазонов и замполит Ленинградского окружного военного госпиталя); но, пожалуй, самым поразительным было анонимное письмо, обнаруженное мною в почтовом ящике в апреле 1960-го года: "Будьте осторожны. Ваша почта просматривается, а прослушиваются не только телефонные разговоры".

"Эка, удивил, — подумал я тогда. — Почта просматривается... Да у кого она не просматривается?"

Я решил, что это шуточка кого-либо из моих приятелей, и продолжал посылать своим немногочисленным корреспондентам такие же непринужденные письма, как и раньше. Что касается "прослушивания", то в большой комнате, в которой чаще всего собирались гости, я вывесил плакатик:

ПОМНИ!
В ЭТОМ ДОМЕ АУКНЕТСЯ —
В БОЛЬШОМ ДОМЕ ОТКЛИКНЕТСЯ!

Как выяснилось позднее, в этом призыве было значительно больше здравого смысла, чем я предполагал. Но, как это ни покажется странным, я, как и большинство советских людей в то время, был твердо убежден, что "теперь у нас не сажают".

Пожалуй, эту мысль следует сформулировать иначе: несмотря на то, что я знал об арестах и последующем

осуждении ряда людей в Ленинграде и в Москве, с которыми мне вскоре предстояло познакомиться в Мордовии, я сохранял неведомо как возникшее — скорее всего, под влиянием прекращения позорного "дела врачей" или "убийц в белых халатах" — наивное убеждение, что эпоха репрессий ушла в прошлое. Известные мне аресты представлялись частными случаями, проявлением некоторого рода инерции. Не думаю, что на меня оказали большое влияние известные высказывания Хрущева и Микояна о том, что теперь у нас нет политических заключенных. Я давно уже не придавал большого значения заявлениям официальных лиц: чем выше их положение, тем меньшую ответственность они несут как за них, так и за свои подписи. Мы все лишний раз убедились в этом на примере Белградского совещания.

Так или иначе, но 11 июля 1960 г., возвращаясь из Москвы, я встретил недалеко от дома соседа по лестнице, который, не останавливаясь, бросил мне вместо приветствия:

— А у вас гости.

Что ж, гости так гости... Я не придал его словам никакого значения.

Гости, однако, были из КГБ. Их было пятеро, при них находились переводчик, которому, очевидно, было доверено определять "степень антисоветскости" стоявших на полках иностранных книг, и трое понятых: управхоз, водопроводчик и дворник.

Приехал я к шапочному разбору: в комнатах был неописуемый беспорядок, на столе лежал подписанный ими и женой протокол обыска и толстенная пачка иностранных денег. Как позднее рассказывал мне сын, обнаружение этих денег вызвало бурный восторг чекистов, тут же сменившийся глубоким разочарованием: это была коллекция немецких, австро-венгерских, польских и прибалтийских бон эпохи первой мировой и гражданской войн.

Не могу сказать, что результаты обыска были очень уж успешными: несколько английских книг и журналов, мои фронтовые дневники, незаконченные литера-

турные работы — вот, пожалуй, и все. Не могу сказать и того, что я сохранил полное спокойствие: когда я подписывал какую-то бумажку (уж и не помню какую), руки у меня дрожали. Во всяком случае это заметил мой сын.

— Что же, — спросил я капитана Меньшакова, руководившего обыском, — очевидно, вы меня арестуете?

— Ну, что вы, — улыбнулся он широкой доброй улыбкой майора Пронина. — Мы теперь никого не арестовываем.

Как ни странно, на сей раз формула эта показалась мне не очень убедительной.

Представители закона удалились, мы принялись наводить хотя бы поверхностный порядок. Разбросанные книги, рукописи, вынутое из шкафов белье — все производило впечатление высокой профессиональности. Но именно п р о и з в о д и л о, ибо, как все или почти все, что делается у нас, обыск был проведен халтурно: прославленные чекисты не заметили ряда книг, которые значительно увеличили бы список отобранной литературы, и, что самое смешное, — нехитро спрятанный "Вальтер" с двумя обоймами к нему. (Уже после моего ареста жена утопила его в канале Грибоедова. Я вполне понимал ее, но пистолет этот жаль мне до сих пор: он был взят в бою, именно в з я т, а не снят с пленного.)

Уже темнело, когда мы с женой вышли отдышаться.

— Ты знаешь, — сказала она вдруг. — Тут странное обстоятельство. Или это совпадение? Вчера звонил Львов и сказал, что хочет вернуть тебе твои книги. Я ему ответила, что ты в Москве, вернешься завтра и что лучше бы он занес их при тебе. Тогда он очень нервно заявил, что ему крайне некогда, что он уезжает, и буквально через пять минут пришел с этими книгами. Я взяла их, положила на полку, но... И вот это самое странное: когда о н и пришли с обыском, то первым делом кинулись к этой полке и схватили те самые книжки.

Это было и в самом деле странно. Хотя о В. Львове ходили всяческие слухи, но я всегда считал (и считаю

сейчас), что опорочить порядочного человека, назвав его стукачом, в сотни раз легче, чем потом доказывать, что это была ошибка. С Львовым я часто встречался в "спецхране" Публичной библиотеки, мы постоянно обменивались мнениями по поводу только что прочитанных сообщений в западной прессе, наша оценка тех или иных событий часто, хотя далеко не всегда, совпадала. Как-то после одной из таких бесед я дал Львову прочитать английскую биографию Ленина, написанную Давидом Шубом, и "Преступление без наказания" Дона Левина (в ней описывалась история охоты за Троцким и его убийство). Он прочитал их, своевременно вернул, но вот за месяц или полтора до описываемых событий вновь попросил, с тем чтобы "восстановить кое-что в памяти".

Картина складывалась однозначная.

Мы не заметили, как оказались в Адмиралтейском саду, в аллее между памятником Петру Первому и Адмиралтейством, и вот тут мне померещилось, что за нами следят: какие-то две тени, старательно державшиеся по другую сторону полоски кустарника, комедийно повторяли наши эволюции — останавливались вместе с нами, старательно отворачивались, когда мы к ним приближались, а затем снова следовали за нами, стараясь держаться в отдалении.

Жена поставила мое открытие под сомнение: какой смысл в этой слежке? Глупо!

Я согласился: конечно, глупо. Но, с другой стороны, вдруг "они" решили, что кто-либо из моих американских друзей, в ближайшие дни намеревавшихся покинуть наши благословенные берега на пароходе, попытается занести меня в каюту в своем чемодане? Или я вдруг решу бежать в Финляндию? Поеду в Усть-Нарву и оттуда саженками через залив прямо в Хельсинки?

Я пытался шутить, но на душе было тоскливо.

На следующий день я предпринял попытку спасти от возможного повторного обыска то, что не было обнаружено при первом: часть книг и пистолет. Сложив все в портфель, я вышел на улицу, прошел с квартал, но

вдруг вспомнил, что оставил дома записную книжку с нужными мне адресами. Я повернулся и почти нос к носу столкнулся с двумя бабами в ярких цветастых платьях и тупыми базарными физиономиями, которые шли в том же направлении, но, по каким-то неведомым причинам, тоже экстренно переменили свои намерения.

Признаться, я и на этот раз не придал особенного значения этой их эволюции. И рассказываю я об этом вовсе не для того, чтобы сообщить о самом факте или, скажем, методах "внешнего наблюдения" и дать какие-то практические советы начинающим диссидентам (такие советы бесполезны, т. к. методы непрерывно обновляются и это происходит тем быстрее, чем больше говорят об уже установленных). Я вспоминаю этот эпизод для того, чтобы рассказать об одном психологическом феномене, весьма характерном для человека, выросшего в условиях сталинского режима и, несмотря на все свободомыслие, все еще не освободившегося от рабского страха перед так называемыми "органами".

Итак, если в самом начале, при первой встрече с цветастыми "агентессами", я отметил их чисто механически, не придавая особенного значения их возникновению, в дальнейшем, на протяжении всего пути в Павловск я смог установить с научной точностью, что они мельтешили вокруг меня отнюдь не случайно. Поэтому, вполне естественно, я отказался от своего первоначального намерения отдать книги и пистолет Олегу Целкову — прекрасному художнику и мужественному человеку, которому я абсолютно доверял. Но мне хотелось как-то оправдать свою поездку в Павловск в глазах разноцветных теток. Ведь они будут писать свое "донесение" или "рапорт" и вставят в него что-нибудь такое: "Объект поехал в Павловск на связь, но связь не состоялась, т. к. либо а) объект заметил наблюдение и от связи отказался, либо б) лицо, вышедшее на связь, заметило наблюдение за объектом и дало ему (объекту) сигнал опасности". Словом, все на высшем уровне детектива в стиле Юлиана Семенова.

Черт его знает, ничто в моей судьбе не могло изме-

ниться от того или иного сообщения топтунов, но мне почему-то не хотелось, чтобы подобное сообщение появилось в том "оперативном деле", которое на меня, несомненно, велось.

Послонявшись по павловскому парку, я пристроился в уединенном месте позагорать, раскрыл недавно полученный английский роман и принялся за чтение. Часа через три или четыре я оделся и оглянулся: цветастых кумушек нигде не было видно.

В буфете недалеко от дворца я съел пирожок, запив его тепловатым кофе. Кумушки не появлялись.

Я забеспокоился: куда они подевались?

И тут я совершил самый идиотский поступок, который мог совершить человек в моем положении: *я стал разыскивать их.* Я колесил по аллеям парка, сворачивая влево и вправо, возвращаясь к тому месту, где видел их в последний раз, и к тому, где я читал. Меня, естественно, не занимала их судьба: вот де влепят этим тетенькам по первое число за потерю бдительности и "объекта". Меня занимала с о б с т в е н н а я судьба: что подумают обо мне те самые деятели родного гестапо*, которые наладили этих теток следить за мной? Насколько это осложнит дальнейшие события?

Я нашел этих теток — точнее, одну из них, — вероятно, через полчаса. Обливающаяся потом, в прилипшем к телу платье, с взлохмаченной прической, она стояла возле теннисных площадок с эскимо в руках и выражением глубокого отчаяния на лице. Как изменилось это лицо, когда она увидела меня! Можно было подумать,

---

* Почему эта аббревиатура так оскорбляет наших доблестных чекистов? Geheime Staatspolizei – государственная тайная полиция, и только. Наше КГБ столь тайно и глубоко засекречено, что его чины, в отличие от корпуса жандармов и даже подлинных гестаповцев, раза два за последние четверть века сменив форму (но сохранив все же традиционные синие петлицы и околыши), не рискуют появляться в ней где-либо, кроме служебных помещений.

что ее наградили годовым жалованием, представили к ордену!

И тут же она вспомнила об одном из пунктов инструкции, по которой она, очевидно, должна была действовать: всячески избегать встречи лицом к лицу с наблюдаемым "объектом". Она со своим эскимо стояла возле довольно чахлого куста и, по мере того, как я приближался к ней, она отступала за этот куст, предполагая, вероятно, что я ее не вижу и никогда не видел раньше...

Впрочем, в данном случае речь идет не о ней, но обо мне, о моем поколении "ровесников" или почти "ровесников Октября". Мы подобны цирковым животным: готовы прыгнуть в любой горящий обруч по первому хлопку бича дрессировщика, но с тупым оцепенением разглядываем случайно оставшуюся открытой дверцу клетки, к которой мы привыкли и которая стала для нас основой мироздания.

Ведь мне не было предъявлено никакого обвинения, я только "подозревался" в некоей "антисоветской деятельности" (а мы все уже достаточно хорошо знали всю расплывчатость и резиновую гибкость этой формулы), с меня даже не взяли подписки о невыезде, я был вправе сесть в любой поезд и отправиться в любом направлении. Мне не нужно было даже командировочное удостоверение — его вполне заменил бы членский билет Союза писателей.

В последующие дни я открыл несколько нехитрых приемов, с помощью которых, выражаясь языком революционного подполья и странным образом связанного с ним уголовного мира, можно было "сбросить хвост" и исчезнуть. Почему я не сделал этого, почему не уехал из Ленинграда в какой-нибудь Владивосток или Чухлому? Ведь я знал о многих случаях, когда человек, которому угрожал, казалось бы, неминуемый арест, уезжал из родного города и, несмотря на наше крепостное право — паспортную систему, обязательную прописку и пр., — оставался на свободе, ибо на новом

месте этот человек не входил в заранее запланированный сценарий местного ОГПУ или НКВД.

Да, несомненно, если я своим поведением — разговорами с американскими студентами и аспирантами, с молодыми ленинградскими литераторами и художниками, — если я добрался до печенок идеологических "отцов города" и, следовательно, КГБ, если они решили на моем примере учинить некое демонстративное действо в поучение и устрашение другим, тогда, несомненно, они, деятели из КГБ, объявили бы всесоюзный розыск и "отловили" бы меня в любой Чухломе. Но добавить что-либо к тем обвинениям, которые были мне предъявлены позднее, они ничего не смогли бы.

Но это я сейчас такой образованный, семнадцать лет спустя, когда возник термин "диссидент", существует "демократическое движение", когда выработались какие-то традиции, некоторые ходы и приемы.

Бежать в Чухлому? Вот Александру Подрабинеку предлагают уехать в Израиль, в США, во Францию, куда угодно, но он собирает в Москве прессконференцию и заявляет: "Пусть уезжает КГБ, а я остаюсь".

Прессконференция?.. Уже после ареста следователь не раз высказывал предположение, что мои американские друзья "подняли шум на весь мир". Нет, они ничего не подняли: после обыска я повстречался с теми из них, кто еще оставался в это время в Ленинграде, и настоятельно просил, чтобы шума не было, — зачем размахивать красной тряпкой перед мордой весьма раздражительного быка в голубых петлицах? И удивительное дело: эти империалистические акулы и наймиты ЦРУ, стоит только попросить их об этом, упускают самые великолепные пропагандистские (и, вероятно, финансовые) возможности ради какой-то порядочности, которая, как однажды заявил довольно известный ныне ленинградский критик А. Эльяшевич, есть "величина переменная".

В четверг 13-го июля, часов в 11, раздался телефонный звонок. Трубка звучала мягким, почти бархатным баритоном:

— Кирилл Врадимирович?.. — Еще в день обыска я заметил эту странную особенность Меньшакова: сочетание звуков ”ЛВЛ” никак не давалось ему. — Добрый день. Это капитан Меньшаков из комитета... Скажите, вы сейчас очень заняты?

Все же шок, вызванный обыском, не вполне прошел за два дня. Да и уровень моей юридической подготовки в те времена был весьма невысок. На человека, знавшего имена Ежова и Берии не по учебникам, словосочетание ”комитет госбезопасности” или просто ”комитет” производило то же впечатление, что и знаменитый взгляд удава на кролика. Конечно же, я ничем не был занят.

— Ну, тогда хорошо. Мы сейчас пришлем за вами машину. И передайте Валентине Валерьяновне, что мы хотели бы видеть и ее.

Мы вышли с женой минуты через три. У подъезда стояла мышиная ”волга”, из открытой двери приветливо улыбался старший оперуполномоченный, старший лейтенант Шорохов, присутствовавший на обыске.

В тот день я не обратил внимания на то, что нас — без пропусков! — провели в Большой дом через подъезд на улице Каляева, но ретроспективно, после всех моих последующих визитов в это зловещее здание, это кажется мне весьма примечательным. Как я понял, этот подъезд — во всяком случае в то время — предназначался только для ”своих”. ”Вызываемые” в КГБ, получив пропуск, проходили обычно через главный подъезд, с Литейного, а позднее, с середины 1960-х, — через подъезд на улице Воинова, расположенный как раз под так называемой ”комнатой ожидания”, рядом с кабинетами следователей. Почему я останавливаюсь на столь, казалось бы, несущественной мелочи, станет ясно в дальнейшем.

На лифте мы поднялись на пятый этаж и задержались у дверей какого-то кабинета, возле которого проторчали минут десять. Из перешептываний, переглядываний и неловких объяснений я понял, что это был

кабинет В. Т. Шумилова, тогдашнего начальника ленинградского УКГБ.

Наконец перешептывания кончились, нас отвезли на второй этаж, жену пригласили в один кабинет, меня — в другой, и тут состоялось мое знакомство с начальником "следотдела" полковником К. Г. Роговым — "заслуженным" чекистом, благополучно перенесшим все ягодо-ежевско-бериевские штормы. Это был худощавый человек лет за пятьдесят, с холодными зеленоватыми глазами, с явным усилием заставлявший себя говорить любезно. В последовавшем разговоре и при позднейшем, более близком знакомстве он напомнил мне знаменитого "Ирода", жандармского ротмистра Соколова, заявившего когда-то народовольцу Поливанову: "Прикажут говорить 'ваше сиятельство' — буду говорить 'ваше сиятельство', прикажут задушить — задушу".

И, пожалуй, это все-таки был разговор, а не допрос. Меня р а с с п р а ш и в а л и, а не допрашивали о моих друзьях и знакомых, и я, не особенно кривя душой, отвечал, что у меня их великое множество, и назвал Всеволода Кочетова, Александра Дымшица, Дмитрия Молдавского (со всеми я, действительно, дружил в конце 1940-х — начале 1950-х). Я был уверен, что ссылка на них не могла принести им ни малейшего вреда, хотя, по совести, и их не следовало бы называть. Однако дело в том, что чуть осмелев после своей поездки в Павловск, я сумел, как мне казалось, избавиться от своих топтунов и отправиться к одному из друзей, чтобы посоветоваться по поводу сложившейся ситуации. Друг мой в юридическом отношении был еще менее квалифицирован, чем я, и мы выработали совместно, вероятно, одну из худших, если не самую худшую форму поведения: если вызовут на допрос, никого не называть, но в своих ответах держаться возможно ближе к истине.

Несмотря на эту смехотворную тактику, несмотря на всю свою неопытность, первый раунд выиграл я: я узнал, что они допрашивали А. Я. Кучерова, одного из редакторов в журнале "Звезда", еще одну мою приятельницу (имени ее я не называю, поскольку роль ее

осталась для меня не ясной, а протокола ее допроса в деле при моем с ним ознакомлении не обнаружилось) и что их весьма интересуют мои отношения с Севером Гансовским — писателем-фантастом, переехавшим года за два до этого в Москву.

По окончании допроса-беседы, выяснив, что жену уже давно отпустили и даже отвезли на автомобиле домой, я отправился в "Звезду", благо редакция находилась в те времена в здании Союза писателей, т. е. через дорогу от Большого дома.

"Тосика" Кучерова я обнаружил в ресторане в обществе двух молодых литературных дам. Несмотря на свои "за пятьдесят" всегда юношески розовощекий "Тосик", увидев меня, резко побледнел. Я заказал себе что-то, включился в разговор и не без любопытства наблюдал, как Кучеров избегает даже смотреть в мою сторону. Покончив с обедом, он поспешно расплатился и ретировался, но я все же настиг его в коридоре редакции, когда он, уже в шляпе и с портфелем в руках, пробирался к выходу.

— Я ничего вам не скажу, — произнес он драматическим шепотом, прежде чем я успел раскрыть рот. — Ничего!

— Анатолий Яковлевич, вы же меня знаете, — сказал я. — Скандала я устраивать не буду, но спрошу вас, о чем вы говорили в Большом доме, достаточно громко, чтобы это услышали во всем здании.

Он капитулировал.

И вот, забившись в туалет рядом с библиотекой, шепотом, как два заговорщика, мы объяснились:

— Я ничего им не сказал. Н и ч е г о !

— Но что они спрашивали?

— Все! О ваших взглядах, о ваших знакомых, о ваших работах. И больше всего о том, где я читал ваш рассказ "Ара-синежелтый".

"Ара-синежелтый" — небольшой и, видимо, весьма скверный рассказец — был изъят у меня при обыске. Написанный от первого лица и не лишенный некоторой автобиографичности, он повествовал о человеке, сидя-

щем в номере бакинского "Интуриста" и по 12—14 часов в сутки работающем над "переводом" некоего современного азербайджанского "классика". ("Перевод", как я рассказывал об этом своим приятелям, делался следующим образом: прочитывался так называемый "подстрочник", вешался на гвоздь в сортире для надлежащего — за неимением пипифакса — употребления, а затем по его мотивам профессиональной рукой со щедрыми добавлениями вышивались узоры. Работа отвратительная, негритянская, но она поддерживала меня много лет как до ареста, так и после освобождения.) Иногда рассказчик размышляет о свободе творчества и ее отсутствии, о том, что чем более безлико и стандартно какое-то творение — тем больше у него шансов на публикацию. Однажды, в порядке отдыха, рассказчик совершает прогулку по городу и забредает в местный зоологический сад. Его внимание привлекает клетка с южноамериканским красавцем-попугаем. На клетке табличка: живет там-то, питается тем-то, "в неволе не размножается". "А мы? — спрашивает автор. И отвечает: — Мы размножаемся..."

— Анатолий Яковлевич, да не все ли равно, где вы читали?

— Ну как вы не понимаете!? — вдруг возмутился Тосик. — Одно дело, если я читал в редакции, и совсем другое, если вы читали его мне, да еще у себя дома!.. Вот только как они могли узнать об этом?

Об этом задумался и я. В самом деле: как? Мне сразу вспомнилась апрельская анонимка: "...прослушиваются *не только* телефонные разговоры".

Я пообещал А. Я., что буду поддерживать его версию. Позднее, знакомясь с делом, я убедился, что Кучеров говорил правду: весь допрос крутился в основном вокруг этого рассказа. Опираясь на материалы, полученные с помощью подслушивающего устройства и, очевидно, имея представление о нерешительности А. Я., гебисты были уверены, что получат надежного свидетеля обвинения. Они смешно просчитались: то ли из страха перед тем, что и его могут привлечь к ответственности (на-

ше знание законов есть большая или меньшая степень *незнания* их), то ли, напротив, зная, что не могут, Кучеров упорно отрицал, что рассказ об антисоветском попугае был прочитан ему мною у меня дома.

Однако просчитался и А. Я.: чекисты не прощают своих поражений. Через неделю после моего ареста Кучерова под каким-то смехотворным предлогом уволили из "Звезды", где он проработал почти пятнадцать лет.

Разговор следователя с женой носил странный характер: какие-то вопросы "вообще", "ни о чем", и между ними, между пустыми фразами, вдруг выстреливались вопросики, заставившие жену придти к выводу, что КГБ очень хорошо знакомо с некоторыми особенностями и деталями нашей семейной жизни и с кругом наших общих и необщих знакомых и друзей. Спрашивали ее, в частности, и о Гансовском. На вопросы о нем жена отвечала, что поскольку "политика" ее не интересует, никаких "политических разговоров" она с ним не вела и что, вместе с тем, достаточно хорошо его знает, чтобы утверждать, что он вполне лояльный советский гражданин.

Необходимо было принять некоторые оборонительные меры. Посоветовавшись с женой, я решил, что мне самому не следовало идти к Н., которую я хотел попросить съездить в Москву (элементарная в наши дни мысль — позвонить по телефону — даже не пришла мне в голову). Жена позвонила Н. из автомата и сказала, что я прошу ее зайти к Ш. в такое-то время. Ш. жила в огромном писательском доме (так называемом "недоскребе") со сложной системой коридоров, соединяющих различные лестницы. В этом доме можно было назначить явку полудюжине шпионов так, что ни один из них не увидит другого.

Конечно, все эти предосторожности были смешноваты, и обе женщины вволю поиздевались надо мною. "Сейчас же никого не сажают. А тебя — писателя, подполковника, с орденами!.. Что за чушь!"

Тем не менее Н. согласилась и через два дня, вер-

нувшись, сообщила, что Гансовский весьма благодарен за информацию и очень обеспокоен.

Несколько странным показалось мне это: будто я сообщал ему о крупном проигрыше в преферанс или об очередной девальвации рубля. Обеспокоен? Так напиши хоть две строчки: ведь тебя тоже могут вызвать. Что ты будешь говорить?

— Он действительно был очень обеспокоен, — повторила Н. — У меня было такое ощущение, что у него самого какие-то неприятности.

Еще того лучше. Тем более можно было написать!

С Гансовским нас связывала тесная, я бы сказал — нежная дружба. В ней не было ни грана того грубоватого налета, когда друзья делятся подробностями своей интимной жизни и время от времени оказывают друг другу известные услуги. И это не из ханжества. Ханжество вообще не было свойственно Гансовскому. Ему был свойственен цинизм.

Именно этот цинизм и что-то во внешности отталкивало меня от него на протяжении тех двух или трех лет, что мы были знакомы "визуально". Он кончал аспирантуру, я встречал его то в Публичке, то в писательском клубе, то кто-нибудь рассказывал мне о каком-либо его высказывании. Все в нем не нравилось мне.

Однако однажды — было это, вероятно, весной 1954 года — ко мне зашла Маша Д. и привела его с собой. Я скорчил недовольную мину, открыл принесенную ими бутылку вина. И вдруг стихийно возник разговор о войне.

Гансовский воевал рядовым солдатом, был тяжело ранен под Невской Дубровкой и затем оказался в качестве инвалида то ли в Ташкенте, то ли в Алма-Ате. Он видел ту войну, которую видел и я — без сахарина и акварельных красок, и еще он видел глубокий советский тыл, которого я никогда не видел. И рассказывал он об этом жестко и впечатляюще.

— Как вам не стыдно! — сказал я вдруг. — Почему вы не пишете *об этом*? На кой черт вы сочиняете вонючие рассказики о несчастных американских безработ-

ных, которых вы никогда не видели и которые живут, вероятно, лучше, чем мы с вами?

— Моя война не интересует издателей, — ответил он. — А мне нужны деньги. За деньги я готов мыть любые литературные полы.

Возник довольно долгий и бессмысленный спор... Точнее, спора не было: я говорил что-то о честности писателя, о его долге, о гражданственности, а Гансовский отвечал, что честность — товар, на который трудно найти покупателя, что долг его, Гансовского, выражается в рублях, занесенных в бухгалтерские книги нескольких издательств, а чтобы покончить с гражданственностью, вполне хватило холостого выстрела "Авроры".

Однако цинизм этот был поверхностным, и за его тонкой корочкой легко прощупывалась боль за страну, стыд за политику ее правительства, отвращение к тому, что фадеевы, сурковы и софроновы называли "советской литературой" и к чему в той или иной мере были причастны мы оба.

Мы подружились.

Я всегда был горяч, эмоционален, часто непоследователен. Гансовский обладал спокойным, аналитическим умом. Мы отлично дополняли друг друга. Виделись мы чуть ли не ежедневно, а после переезда Гансовского в Москву постоянно переписывались. Письма были откровенные и злые, так как, хотя мы и не исключали возможности перлюстрации, но, вместе с тем, были уверены, что наша переписка вряд ли могла представлять интерес для КГБ. По семейной, задолго-дореволюционной, интеллигентской традиции мы оба хранили письма вместе с рукописями, деловыми бумагами, семейными архивами.

Впрочем, как-то зимой 1959-60 года, приехав в Ленинград и сидя у меня, Гансовский сказал:

— Знаешь, что-то ты последнее время много суетишься, много шумишь, иной раз, как мне кажется, и напрасно. Давай-ка, если ты не возражаешь, я заберу свои письма. У меня они сохранятся для истории.

Я не возражал.

Все же в подтексте наших отношений, может быть неосознанно даже, существовала мысль о возможности обыска и ареста, хотя и неизвестно за что, т. к. никаких преступлений мы не совершали. Однако ощущение это временами было столь сильным, что однажды, вновь приехав в Ленинград, Гансовский заявил:

— Впервые в жизни сочинил стихотворение. Да еще в лучших традициях ”серебряного века”... — И продекламировал: — ”Пусть меня расстреляют первым”.

И вот, по впечатлению Н., у Гансовского какие-то неприятности. Почему он не воспользовался оказией и не сообщил мне о них?

Однако долго раздумывать на эту тему было некогда. Обстановка накалялась.

Если в день первого приглашения в Большой дом меня продержали там часа три, то второй допрос (а это был уже форменный ”допрос подозреваемого” с составлением протокола), на который меня опять любезно привезли на автомобиле, продолжался часов пять. Допрос вел Меньшаков, но в кабинет заходили и сидели — то молча, то задавая вопросы — Рогов и какие-то еще незнакомые мне лица. Интересовали их мои американцы, их взгляды (самые лояльные, конечно!), литература, которой они меня снабжали (словари и невинная беллетристика для возможного последующего перевода), кто познакомил меня с тем или другим или третьим (их было такое множество, что я не помнил).

На последующих допросах — теперь мне уже предлагали являться к определенному времени и автомобилей за мной не посылали — задавали конкретные вопросы о конкретных людях, об отношениях с ними, о темах наших разговоров. Я отвечал уклончиво. Взгляды? Вполне советские, хотя о ”политике” мы никогда не говорили. Темы? Литература и искусство. Почему у меня всегда так много молодежи? Вероятно потому, что им у меня интересно. Может быть, еще потому, что если кто-то из них был голоден — его накормят, поссорился с родителями — устроят переночевать.

Кому я давал читать отобранные у меня при обыске книги?

Наступила долгая пауза.

— Ну, вспомните, вспомните, — подбодрил меня Рогов.

— Пожалуй... — Я вспомнил появление Львова накануне обыска, рассказ жены о том, как Меньшаков сразу направился к тому стеллажу, где лежали принесенные им книги.

— А еще кому?

— Никому.

Так продолжалось целую неделю. Круг вопросов, задаваемых мне, расширялся, тон ужесточался, но — с моей, во всяком случае, точки зрения — в них пока что не было ничего слишком уж угрожающего. Впрочем, я чувствовал, что верчусь и извиваюсь все более интенсивно. Мне показывали запись на карточке, помету на полях книги, строки в записной книжке:

— "С-советская власть!.." Почему это написано через два "с"?

— Это запись к изъятым у меня наброскам романа. Так произносит это слово один из героев.

— Ге-ро-ев?..

— Ну, действующих лиц, если это вам больше нравится.

— Почему же он произносит это так странно?

— Видите ли, это придает слову определенную эмоциональную окраску.

Я пользовался отдушиной и пускался в длительные рассуждения относительно возможности чисто лексически или даже фонетически характеризовать то или иное лицо, его социальный статус, интеллектуальный уровень. Некоторое время меня внимательно слушали, потом перебивали новым вопросом.

Однажды Меньшаков вынул из папки газетную вырезку: выступление Кадара по радио 26 ноября 1956 года. Против слов о том, что 23-го ноября Имре Надь выехал из Венгрии в Румынию, моим почерком было отчетливо написано: "Наглая ложь!"

— Что вы хотели сказать этой надписью?

— Как вам сказать... Э... Мне кажется, это ясно из самой пометы.

— То есть, вы утверждаете, что "Правда", центральной орган нашей партии, лжет?.. Н а г л о лжет?

— Ни в коем случае. Дело, очевидно, в том, что "Правда" поместила непроверенное сообщение.

— "Правда" непроверенных сообщений не помещает! — отрезал Меньшаков.

— Ммм... Это не всегда так. Если вы вспомните, что на XX съезде товарищ Хрущев говорил о докладе Маленкова на X1X съезде, то...

— Да, но это было в эпоху культа личности, а сейчас...

— Простите, но вы уже забыли, что Имре Надь вскоре был осужден и расстрелян. В Венгрии, а не в Румынии.

Побагровев, Меньшаков некоторое время молча, ненавидяще разглядывал меня, затем напряженным, угрожающим тоном произнес:

— Вы хотите сказать, что знали об этом уже тогда, в ноябре 56-го года?

— Я иногда слушаю радио. По поводу ареста Имре Надь сразу, как только он покинул югославское посольство, было сообщение агентства ТАНЮГ. И многих других агентств. Следовательно, раздражающая вас помета относится не к "Правде", но к заявлению Кадара.

— Вы поверили этим агентствам и не поверили "Правде"?

Я промолчал достаточно красноречиво, и Меньшаков вдруг взорвался:

— Ну и вражина же вы!

В те времена я еще был далек от мысли, что всю последующую жизнь мне придется заниматься изучением ненормативной лексики, и поэтому "вражину" я воспринял как простую брань. Позднее я установил, что в народном языке под "вражиной" всегда понимается "черт, дьявол, враг рода человеческого", но КГБ, как и его предшественники из НКВД или ГПУ, взяло это слово на вооружение в качестве бранной аббревиатуры к словосочетанию "враг народа".

Итак, сидя перед Меньшаковым, разглядывая его невыразительную физиономию и вовсе не задумываясь над семантическими сдвигами, я размышлял о том, как мне отреагировать на его выпад. Обидеться и сказать, что я старше его по воинскому званию? Что всей своей деятельностью во время войны — в войсках, на переднем крае, в немецком тылу — я смог больше сказать о своих убеждениях, чем Меньшаков в тыловом заградотряде или следовательском кабинете СМЕРШ'а? Не значило ли это опуститься до его кухонно-застеночного уровня?

И тут вдруг мне пришла в голову блестящая мысль. Я держал в руках уголовно-процессуальный кодекс. На столе передо мною лежала газета с опубликованным за два года до этого "Законом об основах судопроизводства в СССР" и "Законом об уголовной ответственности за государственные преступления". Они послужили поводом для насмешки со стороны хлыщеватого чекиста, только что заходившего в кабинет Меньшакова, но эти пособия уже помогали мне ориентироваться в темном лесу отечественной юриспруденции.

— Знаете что, капитан, — сказал я. — Эта ваша фраза дает мне основание считать, что вы ведете следствие необъективно и предвзято. Поэтому я буду требовать, чтобы для ведения моего дела, если таковое существует, был назначен другой следователь.

Это была моя последняя встреча с Меньшаковым, во всяком случае, в ходе следствия. Забегая вперед, скажу, что мне довелось встретиться с ним еще раз, осенью 1963 года, когда он в роли "куратора" ленинградцев — "особоопасных государственных преступников" — приехал в Мордовию.

Лагерный "воронок" (посыльный при штабе лаготделения) неожиданно вызвал меня к "куму". Ломая себе голову над тем, что могло понадобиться этому деятелю — уже давно было ясно, что попытки завербовать меня в информаторы обречены на провал, — я вошел в кабинет и увидел в кресле не местного гебиста, но Меньшакова. При майорских уже погонах, с чуть большим

количеством орденских ленточек на груди, чем при нашем знакомстве, он широким жестом показал мне на стул и подтолкнул пачку "Казбека".

— Здравствуйте, садитесь, закуривайте, — произнес он любезной скороговоркой.

Я сел, поблагодарил за папиросы и отказался от них.

— Ну, Кирилл Врадимирович, как поживаете, как здоровье, чем занимаетесь? — Он опять улыбнулся пронинской улыбкой. — Слышал я, что вы предприняли здесь целое научное исследование. Не можем ли мы чем-либо помочь вам?

Я уже не раз замечал трогательную заботливость о моем здоровье и внимание к моим занятиям, возникавшие всякий раз, как им приходило в голову завербовать меня.

— Благодарю вас, ничего не нужно. Это все? — Я приподнялся со стула.

— Ну во-от, Кирилл Врадимирович... — протянул он с искренним огорчением. — Ну, сами посудите: отбыли вы уже две трети наказания, пора бы подумать о возвращении домой... Вы понимаете, что когда вы вернетесь и захотите прописаться в Ленинграде, общественность города спросит наше мнение, а мы... Что мы сможем сказать?

Я представил себе, как общественность города в милицейском мундире набирает телефон КГБ.

— Следует ли понимать это, как намек на то, что меня не пропишут в городе, если я не стану стукачем?

Он поморщился.

— Как грубо вы это выражаете. — И вдруг оживился: — Но по существу вы, как бывший разведчик, конечно, должны сотрудничать с нами.

— Поскольку приговором суда последующая ссылка или высылка не предусмотрены, то отказ в прописке я обжалую в законном порядке, а сейчас напишу жалобу по поводу того, что вы меня шантажируете.

Я в самом деле написал такую жалобу, адресовав ее Шелепину, бывшему в то время председателем Коми-

тета народного контроля. Жалоба моя была переслана в Прокуратуру СССР, откуда я получил следующий ответ:

> Прошу объявить заключенному Успенскому К. В., что его жалоба рассмотрена и оставлена без последствий. Успенский осужден правильно, его виновность в преступлении доказана и оснований к опротестованию приговора не имеется.

И подпись: "Начальник отдела по надзору за следствием в органах безопасности КГБ советник юстиции 2-го класса Терехов". Приблизительно годом раньше такой же ответ получил на свою жалобу о хищении у него конвоем карманных часов ныне покойный Ефим Борисович Гольцберг.

Но вернемся к следствию.

Утром 19-го июля меня удостоил телефонным звонком сам полковник Рогов.

— Приезжайте, пожалуйста, чуть раньше, чем обычно. Часам к одиннадцати, скажем. Пропуска не надо, вас встретит у главного входа Шорохов.

А я только что вложил в машинку кляузу, в которой требовал отстранения Меньшакова. Кляуза была написана вчерне и не очень удачно. Пока я возился с формулировками, пытаясь вылезть из длинных периодов, стрелка часов доползла до половины одиннадцатого.

Я плюнул на кляузу, вызвал такси и, сопровождаемый гебистской "Волгой" с тремя молодцами в ней, подъехал к Большому дому. На верхних ступенях подъезда стоял плотный улыбающийся Шорохов, старший оперуполномоченный.

— Вот что значит аккуратность военного человека, — сказал он одобрительно. — Пойдемте.

Мимо дежурного милиционера мы поднялись на второй этаж, прошли часть здания, занятую, видимо, после XX-го съезда учреждениями МВД, и миновали никем не охраняемую (ныне наглухо закрытую) мато-

во-стеклянную дверь с надписью: "Вход строго запрещен". Здесь располагался следственный отдел КГБ. К моему удивлению, Шорохов повел меня не в кабинет Меньшакова, а в самый конец коридора — в просторную комнату с круглым столом в центре и казенными стульями вдоль стен.

— Подождите минуту, — сказал он и ушел.

Я прошелся по комнате, выглянул сквозь открытое, но зарешеченое окно, из которого можно было видеть здание Союза писателей, затем извлек свои кодексы и принялся их изучать.

Прошло полчаса. Прошел час.

Я походил по комнате, подошел к двери, выглянул. Коридор был пуст. Воспитанное с детства уважение к этому достойному учреждению и дисциплинированность подлинно советского человека, соприкоснувшегося с Законом, не позволили мне покинуть комнату ожидания и отправиться на поиски забывших обо мне чиновников. Я закрыл дверь, вновь уткнулся в кодексы, потом принялся раздраженно разгуливать, бормоча проклятия по поводу гебистской бюрократии.

Прошло, вероятно, еще часа полтора, и я почувствовал, что испытываю одновременно беспомощное бешенство и сильный голод. Я решительно направился к двери, но тут она открылась и на пороге показался улыбающийся Шорохов.

— Не устали?.. Меня попросили извиниться перед вами. Там неожиданные обстоятельства.

— Ну, знаете, — стараясь сдерживаться, заговорил я. — Рогов просил меня приехать на час раньше, а я торчу здесь битых три с лишним часа!

— Вы уж простите, — вовсе извиняющимся тоном сказал Шорохов. — Еще несколько минут.

— Но я в конце концов элементарно голоден. Могу я за эти несколько минут выйти и что-нибудь съесть? — Втайне я питал надежду, что меня сведут в знаменитую столовую Большого дома и я расширю свое знакомство с этим примечательным зданием и его нравами.

— Это проще простого.

Шорохов скрылся, и минут через пять девушка в кружевном передничке и наколке внесла накрытый салфеткой поднос: отличный борщ, отличный кусок жареного мяса, отличный компот. Мое раздражение испарилось.

Когда я покончил с едой, вновь появился Шорохов.

— Сколько я вам должен?

— За счет мэра города, — улыбнулся он.

— Ну что ж, при встрече передайте ему мою благодарность.

Шорохов провел меня в соседний с "комнатой ожидания" кабинет. За столом сидел тот самый гебист, который накануне заходил к Меньшакову и, увидев через мое плечо кодексы, съязвил: — Готовитесь к последнему слову?

Это был высокий сухощавый человек остзейского типа. Блеснув стеклами очков, он указал на маленький столик, приставленный к письменному столу, и отрекомендовался:

— Старший лейтенант Кривошеин. С сегодняшнего дня ваше дело буду вести я.

"Лопнула моя кляуза", — с огорчением подумал я.

К моему удивлению, Шолохов не вышел из кабинета, как делали до этого все лица, сопровождавшие меня по коридорам Большого дома, но устроился на диване, стоявшем параллельно окну.

Допрос сразу принял резкий характер.

— Каким лицам вы давали антисоветскую литературу?

— Я уже отвечал на этот вопрос. — Я извлек блокнот, в котором отмечал суть предыдущих допросов.

— Я знаю, ч т о вы отвечали. Кому, кроме Львова?

Я весьма широко давал для ознакомления попадавшие ко мне книги. Более того, работая в спецхране Публичной библиотеки и постоянно наскакивая на интересные материалы, будь то политическая хроника или неизвестные стихи Цветаевой, я делился ими со своими друзьями. Если бы чекисты были внимательнее при обыске, они, несомненно, нашли бы как многочисленные

выписки из английской, немецкой или эмигрантской прессы, так и прозрачно зашифрованные записи — кому когда была дана та или другая книга. К моменту обыска не менее десятка находилось на руках.

Что было известно об этом Кривошеину? Я уже ни секунды не сомневался в том, что мои комнаты в коммунальной квартире прослушивались — от соседей справа ли, слева, сверху или снизу. Но как давно? Как часто? Ведь не могли же они круглые сутки держать микрофон или магнитофон включенными. И что они слышали, что записали? Были, очевидно, и другие источники информации: трое из молодых людей, часто бывавших у меня, сообщили, что их вызывали незнакомые люди — кого в комитет комсомола, кого в райком или военкомат — и расспрашивали обо мне. Но, может быть, их было не трое, а четверо или пятеро? И, может быть, у одного из тех, кто промолчал об этом вызове, тоже была какая-нибудь из моих книг?

Размышляя, я разглядывал интеллигентное, ироническое лицо Кривошеина. Пауза была достаточно долгой.

— Не могу вспомнить.

— Так вспомните.

— Нет, вы не поняли. Не могу вспомнить, чтобы я когда-либо давал кому-нибудь эти книги.

— А какие-нибудь другие?

— Нет, не давал.

— Я должен поставить вас в известность, — сказал Кривошеин, — что чистосердечное признание смягчает наказание... А вот эта книга вам известна?

Нагнувшись, он достал из ящика стола хорошо мне знакомый фолиант — "Inside Russia Today" Джона Гантера — с надорванной суперобложкой и чернильным пятном на ней.

Я очень внимательно дважды прочитал книгу знаменитого американского журналиста. Тонкие наблюдения перемежались в ней с нелепыми легендами, остроумные обобщения — с банальностями, не слишком даже резкие анекдоты — с пересказами принятых за чистую монету официальных толкований "культа личности".

Только самое воспаленное воображение могло представить эту книгу как антисоветскую. Гантер совершенно искренне пытался понять новый, неожиданный мир, в котором он провел два или три месяца в качестве привилегированного туриста, путешествующего по классу ''люкс'' и встречающегося с тщательно профильтрованными представителями трудящихся — рабочими, колхозниками, писателями, учеными.

С книгой этой я возился, пожалуй, более двух лет. Я предлагал рецензии на нее в ''Литгазету'' и в ''Новый мир'', в ''Звезду'' и в ''Неву'', в ''Иностранную литературу''. Однако то ли потому, что я уже был персоной ''нон грата'' в литературном мире, то ли по иным причинам, предложения никто не принял. Я поставил книгу на полку, откуда ее и взял Гансовский в свой недавний приезд.

Итак, ''привет вам, птицы''! Гантер в руках следователя.

Значит, у Гансовского был обыск?.. Вот какими неприятностями был он обеспокоен... Но почему же он не сообщил об этом? Надо будет сегодня же позвонить ему и хоть обиняками обменяться мнениями... Сказать Кривошеину, что я впервые вижу эту книгу? Чушь!

— А-а! — радостно улыбнулся я. — Но, во-первых, это вовсе не антисоветская книга. С таких позиций, как вы, очевидно, знаете, и Джон Рид много лет рассматривался как антисоветчик. Во-вторых, мною была написана рецензия на нее, по поводу которой я советовался с Гансовским. Согласитесь, что оценить достоинства или недостатки рецензии, не видя рецензируемой книги, просто невозможно. Гансовский, кстати, тоже имеет доступ в спецхран.

Мое заявление не произвело ни малейшего впечатления на Кривошеина. Он долго записывал что-то в протокол, потом последовали другие вопросы, и я понял, что интеллигентные руки Кривошеина значительно жестче мужицких клешней Меньшакова... Пожалуй, в этот день я вертелся, как угорь на сковороде, и несколько раз стирал с лица испарину. Задумываясь в поисках

наиболее точного и безопасного ответа, я поглядывал в сторону окна и почти всякий раз наталкивался на добродушно-сочувственную ухмылку Шорохова. "А он какого черта торчит здесь?"

Допрос продолжался часа четыре. Если прибавить сюда три с половиной часа, проведенных мною в "комнате ожидания", — хороший рабочий день.

— Ну что ж, на сегодня хватит, — сказал, наконец, Кривошеин. — Прочитайте и распишитесь.

Я взял протянутые мне листки допроса и сразу наткнулся на изменившуюся шапку: "Протокол допроса такого-то, о б в и н я е м о г о в антисоветской деятельности..."

— Вот оно что...

Я внимательно, как всегда, прочел протокол, потребовал внесения нескольких исправлений, подписал каждую страницу.

— А теперь позвольте познакомить вас вот с этим...

Он открыл папку, извлек из нее небольшой листок и протянул мне: "Ордер на арест... Утверждаю. 19 июля 1960 г. Прокурор г. Ленинграда Цыпин".

"Идиот! — было первой мыслью. — Мчался к ним на такси. Боялся опоздать. Кретин! Давно надо было смыться куда-нибудь к чертям..."

— Да, вот еще, — снова заговорил Кривошеин. — С вас семь пятьдесят. За обед.

Шорохов бросил на него удивленный взгляд.

Мне предстояло общаться с Кривошеиным два месяца — весь период следствия. Недобрую память я сохранил об этом холодном, циничном, все понимающем и ни во что не верящем человеке. И все же капелька благодарности к нему осталась в душе до сих пор: перед тем, как меня увели в тюрьму, он разрешил мне позвонить домой и сообщить жене об аресте.

2

Любой подробный и последовательный рассказ о ходе следствия неизбежно вылился бы в рассказ о том, какой я хороший и умный или, напротив, какой я плохой и глупый.

Я не был ни тем, ни другим. Повторю только, что все мое поведение на следствии определилось изначально неправильной формулой: не сообщая КГБ ничего, что могло бы хоть как-то повредить друзьям и знакомым, держаться как можно ближе к истине.

Истина госбезопасность не интересует. В условиях "разгула либерализма", который мы наблюдали в середине и конце 1950-х годов, ее, госбезопасность, интересовали лишь более или менее убедительно звучащие формулировки, которые можно было бы включить в обвинительное заключение, а затем и в приговор.

Этого, в общем-то, не получилось, как станет ясно каждому, кто прочтет приговор по моему делу. Позднее я узнал, что после того как этот приговор, выражаясь торжественным слогом уголовно-процессуального кодекса, был "провозглашен", начальник ленинградского КГБ Шумилов, выступая на специально созванном расширенном секретариате Ленотделения Союза писателей, вынужден был пуститься в весьма сильные преувеличения относительно моей "преступной" деятельности.

С другой стороны, покойный Ю. П. Герман рассказывал мне, что, когда он позвонил тому же Шумилову, чтобы устроить моей жене (так и несостоявшееся) свидание с ним, Шумилов долго молчал в телефонную трубку, а потом произнес задумчиво и доверительно: "Н-да... Много дали вашему Косцинскому". Подобная фраза в устах начальника жандармского управления равносильна признанию того, что можно было бы вообще ничего не "давать".

В самом деле, в чем обвиняло меня КГБ, за что оно так сердилось на меня? Для ответа на этот вопрос придется сделать некоторое отступление.

Я не буду говорить о том, как формировались мои политические взгляды, это заняло бы слишком много места. Скажу самое существенное — вырос я в семье интеллигентов-большевиков, которые вполне искренне были убеждены, что понятия гуманизм и коммунизм синонимичны. В те дни, когда Ленин вместе с Зиновьевым скрывались в знаменитом шалаше, Н. И. Бухарин, по решению ЦК, нашел убежище на квартире моих родителей. Естественно, что я не помню этого, но хорошо помню редкие — и для моих родителей всегда знаменательные — визиты Бухарина в 20-х и начале 30-х годов. Гуманизм, высокие нравственные принципы и дружба с Бухариным — снизу вверх, не без оттенка почтительности — позднее не помешали моему отцу вместе со всеми, хотя и не столь шумно, возмущаться гнусными преступлениями как Бухарина, так и остальных героев (или жертв) "больших процессов". Моя мать — милая, самоотверженная женщина — восхищалась мудростью Сталина, забыв, как в 1928 или 1929 году, после очередного визита Бухарина обронила при нас, мальчишках, фразу: "Если это так, то Николай Иванович безусловно прав: он параноик". Из контекста было совершенно ясно, о ком идет речь.

Эти противоречия откладывались скорее в подкорке, чем в сознании. "Большие процессы" вызвали болезненный интерес к ним и желание понять психологические мотивы, побудившие соратников Ленина встать на путь контрреволюции и предательства. Изучение съездов и работ Бухарина, чудом сохранившихся в доме (а потом все же уничтоженных), а затем, уже после войны, Розы Люксембург, Каутского, Эдуарда Бернштейна привело к выработке взглядов, позднее полностью совпавших с программой Дубчека, со всем духом "пражской весны". Подобный сдвиг по фазам генеральной линии партии был, несомненно, не у меня одного, но мы жили в эпоху Великого Безмолвия, когда откровенный сервилизм в науке или искусстве носил название гражданственности, а любое высказывание, требовавшее подлинного гражданского мужества и надежно, казалось

бы, подпертое цитатами из классиков марксизма-ленинизма, почти неизбежно кончалось тем, что в самом лучшем случае можно было назвать ”крупными неприятностями”.

Собственно, ничто существенно не переменилось и сейчас, разве лишь ”неприятности” носят менее катастрофический характер.

Первая попытка ”подумать вслух” обернулась для меня в 1938 году первым, к счастью, весьма недолгим, знакомством с НКВД. На второй — в 1944 году — стоит остановиться подробнее.

Всякое затишье на фронте и, в особенности, длительная, глухая оборона немедленно вызывали бурную активизацию деятельности политработников. Летом 44-го, когда мы стояли на границах Бессарабии, одним из проявлений этой активизации стали так называемые ”теоретические конференции” или ”собеседования”. Темой конференций, проводившихся в армиях 3-го Украинского фронта, была ”теория и тактика большевистской партии в вопросах войны и мира”. Мне пытались навязать основной доклад, но я, ссылаясь на служебную занятость, — когда еще больше работы у разведчика-информатора, как не в период длительной обороны? — наотрез отказался. Меня все же вынудили согласиться на ”содоклад”.

Вот тут и возникла ситуация, отразившаяся, пожалуй, на всей моей последующей жизни.

Меня давно, с осени 1939 года, волновала сложная проблема, связанная с заключением договора о дружбе, ненападении и взаимопомощи между СССР и Германией. Предательская сущность этого пакта, отход от основных принципов мирной политики были, пожалуй, ясны мне с самого начала. Последовавшие вслед за пактом четвертый раздел Польши, позорная война с Финляндией, захват Литвы, Латвии, Эстонии и Бессарабии означали откровенный переход к политике колониальных захватов. Однако, несмотря на то, что во мне боролись противоречивые чувства возмущения и патриотической гордости, говорить об этом с кем-либо, кроме самых

близких друзей, было равносильно прямому самоубийству.

Но был у этой проблемы один аспект, который — после Сталинграда, после Курской дуги — казался мне вполне безопасным: пораженческая позиция коммунистических партий Франции и Англии, занятая ими с первых же дней второй мировой войны.

Я учился в то время в Высшей специальной школе Генерального штаба Красной армии. Любопытным отличием этой строго засекреченной академии, готовившей кадры для советской разведки, было то, что в академической библиотеке получались и были вполне доступны все основные газеты и журналы западного мира — английские, французские, американские и, конечно же, ”союзнические” — немецкие.

Я до сих пор помню потрясение, испытанное мною, когда в результате чтения этих газет мне стало ясно, что руководство французской компартии уже после поражения Франции вплоть до июня 1941 года призывало французов брататься с немецкими оккупантами и требовало включения своих представителей в коллаборационистское правительство маршала Петена. Вот этой темы я и решил осторожно коснуться в своем ”содокладе”.

Выбрав время, я раза два или три навестил библиотеку передвижного Дома Красной армии и на листке бумаги (он сохранился у меня до сих пор) набросал три пункта, вряд ли прочно связанных друг с другом.

Вот этот листок:

1. 1939 — пакт о ненападении и дружбе с Германией.

1939—1947 — позиция французск. и англ. компартий — механическое перенесение ленинского положения о поражении своего правительства.

Но у Ленина эта позиция определяется: ”...с точки зрения международного пролетариата, поражение которой из двух воюющих наций было бы наименьшим злом для социализма” (”Война и российская социал-демократия”, Соч., 3-е изд., т. 18, стр. 65).

Гитлер. Могли ли быть сомнения?

2. Союзники. *Англия* — крупнейшая колониальная империя.

США — стремление к мировой гегемонии.

Черчиль — вдохновитель интервенции 14-ти государств.

Рузвельт — ставленник капиталист. монополий.

Союз с СССР — результат временных, преходящих интересов.

Неизбежность последующего столкновения двух систем и вооруженного конфликта между ними.*

3. Маркс — создатель 1-го Интернационала. Энгельс — 2-го. Ленин — 3-го.

Могут ли коммунисты отказаться от координации действий в международном масштабе? Могут ли не содействовать любому освободительному движению?

Очевидность — роспуск Коминтерна всего лишь тактический шаг. Цель его — выбить почву из-под ног фашистской пропаганды.

Я, конечно, понимал, что ни французская, ни английская компартии не определяли свою политику: они следовали директивам Коминтерна — это даже в те годы было ясно самому поверхностному наблюдателю. Так же было ясно, что и Коминтерн, проводя свою сложную, полную неожиданных извивов политику, следовал указаниям Вождя Народов. Однако мне казалось, что, ссылаясь на Ленина и не упоминая Коминтерн в связи с политикой французской и английской компартий, я надежно замаскировал подспудную мысль и смогу вызвать своих коллег на интересный разговор.

Разговора все же не получилось. После моего выступления, несмотря на призывы майора Ксениева, зам-

* Несмотря на всю примитивность фразеологии этого утверждения, оно, несомненно, справедливо и сейчас. Существенную поправку внесло лишь появление атомной бомбы.

полита разведотдела 46-ой армии, говорить никто не пожелал, и Ксениев, вяло заметив, что я чего-то "недопонял", закрыл "собеседование".

Однако месяц или полтора спустя — мы все еще были на Днестре — из политуправления фронта прибыла комиссия по проверке партийно-политической работы в армии. Один из членов этой комиссии, старший лейтенант, забрел и ко мне в отдел: какое участие принимаю я в партийной работе и какие партийные задания выполняю? Отмахнувшись от него — я был занят анализом группировки противника, — я сунул ему свой листок. Он задал один, другой, третий уточняющие вопросы, я ответил на них.

Часа через два меня вызвали в партбюро штаба армии, тут же влепили мне строгий выговор с предупреждением, а еще недели через три, при вторичном рассмотрении вопроса в армейской парткомиссии, исключили из партии "за антипартийные, профашистские высказывания".

Не буду пускаться в детали, скажу лишь, что два с половиной года спустя, Контрольная комиссия при ЦК подтвердила исключение. Моя тетка, Н. А. Коган, старая большевичка, в начале 1900-х годов руководила в Иваново-Вознесенске рабочим кружком, в котором занимался тогда и М. Ф. Шкирятов, ставший в 1939 г. бессменным заместителем председателя Комиссии партконтроля при ЦК. Тетка написала ему письмо с просьбой лично ознакомиться с моим делом. Шкирятов вызвал меня, взял машинописный листок — резюме — из принесенной референтом толстой папки (в ней, в этой папке, как мне стало ясно, пока я сидел за столиком против листавшего ее партследователя, содержалось мое подробное жизнеописание, преимущественно в доносах, начиная с 1934 г., когда я стал курсантом пехотного училища в Ленинграде). Шкирятов прочел листок, лениво листнул папку и развел руками:

— Исключили вас, конечно, неправильно и напрасно... Но судите сами: в партии вы были немногим более года, вне партии — два с половиной. Восстанавливать

вас не имеет смысла. Подавайте заново.

Внутренняя фальшь такого решения была столь очевидна, что я, наговорив Шкирятову если не грубостей, то непозволительных резкостей, ушел, разве только не хлопнув дверью. Мысль о восстановлении в партии или вступлении в нее вновь больше не возникала: ко времени этого разговора я уже отчетливо понимал, что исключили меня правильно, ибо мои высказывания на "собеседовании" свидетельствовали о независимости мышления, несовместимой с членством в коммунистической партии. Любопытно, что следователь Кривошеин и его начальник Рогов согласились с этим: не считай себя умнее других, не высовывайся!

"Высовываться" в те годы значило подвергать себя смертельной опасности. Террор 1930-х выковал подлинное единство народа — единство стада баранов, охваченных безудержным страхом. Те одиночки, которые осмеливались "свое суждение иметь", сумасшедшие, юродивые, еретики, которые думали иначе, решались делиться мыслями разве только с женами, да и то не иначе как под покровом ночи и семейного одеяля. Лишь в конце войны в армейской — преимущественно фронтовой — среде несколько распустились языки: мы видели, сколько крови стоило возросшее полководческое мастерство наших стратегов, мы видели, как бессмысленно бросались батальоны и полки под пулеметы противника, уже не имевшего ни мощной авиации, ни артиллерии, ни танковых соединений, уже не столь сильного боевым духом, как раньше, но часто предпочитавшего смерть сдаче в плен. Мы по-прежнему побеждали пушечным мясом.

Да, в армии люди стали откровеннее. Я помню, как в сентябре 1946 года, возвращаясь из Венгрии в Ленинград, я заговорил в вагоне "Красной стрелы" с майором медицинской службы, всю войну проведшим на фронте. Мы мгновенно нашли общий язык, и если я опирался на опыт разведчика и начальника штаба полка (меня направили в полк после исключения из партии: мне нельзя было доверить карту с нанесенной на нее группировкой противника, поэтому с чисто большевистской логикой

мне доверили телефонную трубку, взяв которую, я мог открыть фронт немцам), то мой собеседник — полковой врач, а затем дивизионный хирург — говорил о проценте смертности среди раненых и больных, во много раз превысившем соответствующие цифры во время первой мировой войны. Мы обменялись телефонами, договорились в ближайшие же дни созвониться и... ни один из нас не позвонил другому. Мы больше никогда не встречались. Война кончилась, и мы превратились в штатских. Страх полицейской расправы оказался сильнее фронтового братства.

Смерть Сталина и неожиданное прекращение "дела врачей" сразу разрядили атмосферу. Все кругом — задолго до XX съезда — вздохнули с облегчением. Вздохнули... но не заговорили.

Впрочем, среди нормальных людей всегда найдется один идиот. "Обратный ход" "дела врачей" произвел на меня такое глубокое впечатление, что через месяц или два я подал в Секретариат Союза писателей заявление, сообщая об исключении из партии, которое я "до сих пор скрывал, но в настоящий момент пришел к выводу, что поступал недостойно и неправильно".

Кажется, в августе того же года меня переводили из кандидатов в члены Союза писателей. Заседание Секретариата вел Всеволод Кочетов. Когда он зачитал этот примечательный пункт из моей анкеты, в зале вдруг наступила тишина. Однако и ленинградский Секретариат и, что всего любопытней, Секретариат Союза писателей СССР единогласно проголосовал за прием — такова была атмосфера облегчения, разрядки, "оттепели", наступившей тотчас после смерти Сталина. (Нужно ли говорить о том, что в характеристике, присланной из Союза то ли по требованию КГБ, то ли по просьбе адвокатессы, было сказано, что я "скрывал факт исключения из партии" и "вынужден был сообщить об этом под давлением общественности"?!).

В декабре 1954 года состоялось предсъездовское собрание ленинградской писательской организации.

Первый съезд, как известно, был проведен в 1934 году, и вот, 20 лет спустя, должен был состояться Второй. Прошел он в жанре помпезного зрелища, на котором демонстрируются итоги блестящих достижений и побед. Так же, по идее устроителей, должно было пройти и собрание в Ленинграде. Вместительный зал особняка Шереметевых показался слишком скромным для этих целей. Городские власти предоставили писателям исторический зал Таврического дворца. Я не знаю его вместительности, но и в день открытия и во все последующие дни он был полон.

Собрание открылось докладом В. Кочетова, тогдашнего руководителя ленинградского ССП, затем следовали содоклады. Поскольку еще накануне мы с Гансовским продумали программу моего выступления, я записался в прения раньше, чем кончил говорить Кочетов. Однако моя репутация скандалиста и ''городского сумасшедшего'' заставляла каждого председательствующего перепоручать мое выступление своему преемнику. Выступил я лишь на третий день, демагогически потребовав слово ''в порядке ведения'' (в середине 50-х годов были возможны такие фортели!) и заявив, что в списке записавшихся в прения мое имя стоит первым.

В подготовленном мною выступлении, конечно же, не было ничего революционного; я говорил о праве писателя на самостоятельность мышления, на философские обобщения, на сомнения и ошибки (а что в творчестве ошибочно и что безошибочно? кто может и кто вправе это определять?). Я говорил о недопустимости административного руководства литературой и о критиках, чьи вкусы и литературные оценки удивительно счастливо совпадают со штатно-должностным расписанием правления Союза писателей. И, наконец, заметил я, посредственный роман одного ленинградского писателя, совершенно не замеченный столичной или союзной критикой, был встречен потоком восторженных статей в ленинградской прессе только потому, что автор этого романа был ответственным секретарем ленинградского

отделения Союза писателей и членом обкома партии. Речь шла о "Молодости с нами" Всеволода Кочетова.

Не Бог весть какая смелость потребовалась для этого. Но присутствовавший в зале и, кажется, в этот же день выступивший первый секретарь Обкома комсомола В. Шумилов, позднее, уже будучи начальником ленинградского КГБ и полковником (головокружительную карьеру делают эти комсомольские полковники и генералы!), скажет мне, уже арестанту, что он в тот день и приметил меня как человека опасного. "Дух элементов групповщины, — напишет через два дня "Ленинградская правда", — нетерпимый тон 'проработки' носило выступление К. Косцинского, встретившее должный отпор со стороны ряда выступавших в прениях".

А Косцинский, только-только принятый в члены Союза писателей, "проработав" всевластное правление, а попутно и сидевших в президиуме К. Симонова и Б. Полевого, этот Косцинский спустился с трибуны совершенно ошеломленный: переполненный зал дал ему "должный отпор" бурными, долго несмолкавшими аплодисментами.

Я вспоминаю об этих аплодисментах вовсе не из желания похвастаться. Аплодировали не мне. Аплодировали хотя и робкому, но вслух произнесенному призыву даже не к свободе — к "ослаблению гаек", что ли, к либерализации, к продолжению "оттепели".

Именно в период "оттепели" единство народа или, уточним, единство интеллигенции, дало первую трещину. XX съезд, несмотря на всю половинчатость "секретного доклада" и последовавшие за ним венгерские события, как и тот процесс, который вошел в народную память под названием "позднего реабилитанса", — все это вызвало заметное расслоение, я бы сказал, поляризацию, и в первую очередь в среде творческой интеллигенции. Люди, которые раньше общались лишь на самые общие, профессиональные или верноподданические, темы вдруг стали с удивлением обнаруживать, что те, кого многие годы они считали ближай-

шими друзьями, высказывают взгляды и симпатии, вызывающие в лучшем случае недоумение, а зачастую и резкий протест.

Я помню, как в начале 1957 года приехал из Москвы мой многолетний друг, постепенно превратившийся в приятеля, Сергей Антонов. Он с увлечением стал рассказывать о повести "Журналистка", над которой работал. Героиня повести оказывается в Будапеште в самые трагические дни. Возле одного из официальных зданий, из которого отстреливаются сторонники Ракоши — Герэ — Кадара, она замечает пухлого человечка, похожего на мистера Пиквика. Поднимая вверх ручки, он кричит: "Господа! Не стреляйте! Не разрушайте дом! Это же наше народное достояние!" Она встречает Пиквика еще в двух или трех местах, и всюду он простирает ручки, призывая к прекращению обстрела. И вдруг журналистка узнает, — и тут Антонов засветился довольной улыбкой, — вдруг узнает, что мистер Пиквик — бывший владелец этих домов и надеется получить их назад в полной сохранности.

— Сережа, — сказал я. — Ведь мы ничего толком не знаем о том, что произошло в Венгрии. Информация наша неполна и недостоверна.

Антонов огорчился и промолчал.

Позднее я видел его повесть под этим названием, но прочесть ее мне не удалось и я не знаю, последовал он моему совету или нет.

Таким образом я потерял многих старых друзей, но приобрел и немалое количество новых. Если подсчитать, какой процент среди тех и других давал "обличающие" меня показания, то цифры получатся приблизительно равные. При этом, правда, надо учесть, что большинство свидетелей ловилось (как ловится и сейчас) на довольно нехитрый прием: следователь вскользь, небрежно (или значительно и сурово) спрашивает вас: "Помните ли вы, что вы сказали в ответ на такую-то фразу Н.?" Вы, конечно, не помните, хотя точность цитаты заставляет вас вздрогнуть. "Ах, не помните? — говорит следователь. — Так я вам напомню..." И приводит

ваши слова точь-в-точь так, как вы когда-то их произнесли. "Да, — соглашаетесь вы, — совершенно верно". Ибо какой же смысл скрывать то, что говорит о себе ваш приятель Н., находящийся за решеткой? Ему ведь виднее, что можно и что нельзя или не следует говорить.

Примите мои поздравления: вы попались на крючок, вы "коланулись". Вам ведь и в голову не придет, что ваш друг Н. не только не давал таких показаний, но даже ни разу не назвал ваше имя. Здесь сработала магнитофонная запись, предъявить которую вам или самому Н. следователь не имеет права (более того, согласно ст. 128 сталинской и ст.ст. 55—57 новой Конституций, предусматривающим неприкосновенность вашего жилища и охрану законом вашей личной жизни, у следователя просто не может быть подобной записи!). Но зато следователь, опираясь теперь на подписанный вами протокол, зажмет вашего приятеля в тиски: "Как же вы можете утверждать, что вы этого не говорили? Вот, полюбуйтесь, что показывает по этому поводу ваш лучший друг Х.". Если ваш приятель достаточно тверд и не схватит эту приманку с той легкостью, с которой сделали это вы, то вам могут устроить очную ставку, и тогда у вас возникнет возможность исправить свою ошибку. "Нет, — заявите вы следователю. — Вы неправильно меня поняли, я этого не говорил, а протокол подписал потому, что был взволнован неожиданным вызовом и испуган..."

Вот, между прочим, какой диалог произошел между следователем Кривошеиным и молодым (тогда) поэтом Михаилом Ереминым, как я реконструировал его по замечаниям Кривошеина и Рогова и по злобной пене, которая выступала на их губах всякий раз, как упоминалась его, Еремина, фамилия:

С л е д о в а т е л ь . Знаете ли вы писателя Успенского Кирилла Владимировича?

Е р е м и н . Нет, такого писателя я не знаю.

С.: Ну, хорошо, а Косцинского?

Е.: Писателя Косцинского я не знаю. Я знаю члена

Союза писателей, носящего эту фамилию.

С.: Как это понимать?

Е.: Мне не нравится, как и что он пишет.

С.: Ладно... Скажите, вы часто у него бывали?

Е.: Довольно часто.

С.: Вы когда-нибудь слышали от него высказывания, носящие антисоветский характер?

Е.: Постоянно.

С.: (с удовлетворением) Ага... Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Е.: А что тут рассказывать? Все и так ясно.

С.: (жадно) Но нам интересны подробности... Вы помните, например, что он (заглядывает в бумажку) говорил о цензуре? (Читает) "Современная цензура в России во много раз свирепее той, которая существовала до революции..."

Е.: Это я говорил.

С.: (Грозно) Что?!.. Вы?

Е.: Я.

С.: (устало) Хорошо, какие же антисоветские высказывания Косцинского вы слышали?

Е.: Я, видите ли, пишу стихи. Косцинский постоянно уговаривал меня писать в духе социалистического реализма. Но поскольку никто не знает, что такое реализм вообще, и еще меньше, что такое социалистический реализм, подобные призывы я не могу расценивать иначе, как антисоветские, потому что в нашей конституции...

С.: (яростно) Прекратите!.. Вы знаете, где вы находитесь?

Е.: Конечно. У следователя ГПУ.

С.: Не ГПУ, а КГБ.

Е.: А разве между ними есть какая-нибудь разница?

С.: Молодой человек, я могу через десять минут получить у прокурора ордер на арест, и тогда вы очень нескоро выйдете отсюда.

Е.: (умиротворенно) Вы знаете, каждое утро, просыпаясь, я думаю, где я буду обедать и где ночевать. Вы сразу решите все мои проблемы.

С.: (в бешенстве) Пошел вон, мерзавец!

При встрече после освобождения Еремин подтвердил, что моя реконструкция довольно близка к истине.

Однако далеко не все допросы проходили на столь высоком идейном уровне. В этом я убедился, когда меня привели на первую очную ставку: по другую сторону дивана, который в день моего ареста стоял возле окна, а теперь, переместившись к боковой стене, разделял два стула, на дальнем от двери сидел молодой (тогда) ленинградский критик Павловский. Я сел на второй стул, находившийся возле самой двери, в углу.

А. И. Павловского я знал лет пять или шесть, но издали. Ближе мы познакомились осенью 1959 года в одесском доме творчества, где он отдыхал вместе с женой и сыном, а я оказался случайно и неожиданно для себя. В столовой мы сидели за одним столом.

Недели две мы интенсивно общались вплоть до его отъезда. Разговоры шли, главным образом, о литературе и, видимо, взгляды и позиции наши совпадали, иначе вряд ли общение наше продолжалось бы и позднее, в Ленинграде.

И вот маленький, в очках с сильными линзами, очень несчастный, Павловский глухим голосом, избегая смотреть в мою сторону, заговорил о том, что хотя конкретного содержания моих антисоветских высказываний он не помнит, но они носили отчетливо враждебный характер.

— Позвольте, Алексей Ильич, не объясните ли вы мне, — начал я, — как можно, не помня содержания...

Меня тут же перебил Кривошеин:

— Вопросы вы можете задавать только мне, а вы, — он посмотрел в сторону Павловского, — вы можете отвечать на них только с моего разрешения.

Надо сказать, что следственные органы и суд в нашей стране по традиции, идущей, вероятно, еще из допетровской России, относятся к законам как к делу совершенно домашнему. У нас и сейчас, когда мы, наконец, восстановили социалистическую законность, чуть

перекосившуюся в годы "культа личности", можно расстрелять человека, применив закон, принятый не только много позже совершения преступления, но даже после того, как суд первой инстанции "провозгласил" свой приговор, опираясь на действующее законодательство. Так произошло, например, в 1962 г. со знаменитым делом валютчиков Рокотова-Файбишенко, первоначально приговоренных Верховным судом РСФСР к 15 годам заключения. Сведующие люди рассказывали, что добрейший Никита Сергеевич рыдал от огорчения и возмущения: т о л ь к о 15 лет! Слезы главы партии и правительства — существенный законодательный фактор. В статью 88 Уголовного кодекса срочно внесли изменение, дело по протесту Руденко — генерального прокурора и главного блюстителя законов в нашей стране — было пересмотрено судом в новом составе, прошения о помиловании с должной твердостью отклонены, и мерзавцев, воткнув им в рот по резиновой груше (последнее желание приговоренного к смертной казни?), уволокли на "исполнение". Так два валютчика вошли в историю отечественной юриспруденции как опровержение древней русской поговорки: "Закон назад не пишется".

Где уж тут толковать о правах и защите интересов обвиняемого, в особенности в тех случаях, когда к нему уже применена "мера пресечения" — заключение под стражу, которой пользуются у нас с поистине русской щедростью.

При аресте у меня немедленно отобрали Уголовный и Процессуальный кодексы и "Закон об уголовном судопроизводстве в СССР", с которыми я ходил в Большой дом, как католик с молитвенником на воскресную мессу. Адвокат, по нашему законодательству, допускается к делу лишь по окончании следствия (да и то только с 1959 года; по старому УПК вопрос о допуске защитника решался непосредственно судом), обвиняемый, оказавшись под арестом, полностью лишается юридической помощи. Наши юридические знания измеряются, как правило, величинами отрицательными,

и следствие этим широко пользуется, совершая великое множество как мелких, так и крупных беззаконий. Одна из наиболее распространенных в наши дни форм нарушения закона состоит в том, что следствие (да и суд тоже — в политических делах, во всяком случае) полностью игнорирует все факты, говорящие в пользу обвиняемого.

— Нас это не интересует, — неоднократно заявляли мне и Кривошеин и Рогов. — Наша задача — исследовать вашу вину. Вашими добродетелями будет заниматься суд.

Как выяснилось позднее, мои "добродетели" интересовали суд не в большей мере, чем следствие, но этими заклинаниями следователям удалось в значительной мере ослабить мое сопротивление.

На первом же допросе после ареста я потребовал возвращения мне отобранных у меня кодексов, выдачи письменных принадлежностей и разрешения покупать или получать газеты. Через неделю после ареста, когда я возмущенно напомнил следователю, что в периоды самой черной реакции "Что делать?" и "Дети солнца" были написаны в Петропавловской крепости, а бóльшая часть "Развития капитализма в России" — в той самой тюрьме, где теперь держали меня, Рогов вообще не понял, о чем идет речь, а Кривошеин, усмехнувшись, спросил:

— Уж не хотите ли вы сравнить себя с Чернышевским и Горьким? — произнести имя Ленина он не рискнул.

— Нет, — ответил я. — Я даже не хочу сравнивать тюремный режим в царской России с нынешним.

Может, только потому, что в этот момент в кабинет вошел Шумилов и Кривошеин не без сарказма передал ему содержание разговора, мне в тот же день выдали карандаш и — по счету — десятка два листиков, вырезанных, видимо, из упраздненного "Журнала суточного наблюдения за заключенными". Название это придумано мною, но как иначе можно было бы назвать эти листки с типографской шапкой:

и ниже двадцать четыре линейки, обозначенные временем от 00.00 до 24.00.

Или это были те клетки, в которых я расписывался каждый раз, возвращаясь от следователя? Весь журнал был закрыт аллюминиевой пластиной с небольшим прямоугольным вырезом с правой стороны. Когда я отказался подписаться в неизвестном мне документе, возникло волнение. Выводной привел корпусного, корпусной — дежурного помощника начальника следственного изолятора, а тот бегал совещаться, очевидно, со своим прямым начальником. Наконец, закрыв журнал листами бумаги сверху и снизу и придерживая их шестью руками, чтобы я не сдвинул их и на миллиметр, мне показали целую строчку: "такой-то выведен к следователю в такое-то время и возвращен в камеру в такое-то".

Но ни получения газет, ни возвращения кодексов я так и не добился до конца следствия.

— Главные новости я всегда сообщу вам сам, — заявил Кривошеин, — а с кодексом можете знакомиться у меня во время допроса.

Мне тогда не пришло в голову воспользоваться очень мощным в условиях следствия оружием: голодовкой и отказом отвечать на вопросы следователя. И я, конечно, не мог требовать у Кривошеина кодексы всякий раз, когда у меня возникали сомнения в законности тех или иных его "следственных действий", тем более, что такие сомнения возникали зачастую уже в камере, по окончании допроса.

Так или иначе, но Павловский, не помнивший конкретного содержания моих антисоветских высказываний, принялся вспоминать: Успенский выражал недовольство отсутствием в стране демократии, негодовал по поводу однопартийной системы, раздраженно говорил о партийном руководстве и руководителях партии, а я разглядывал его страдальческое лицо и пытался понять, каким образом из этого, судя по всему, недурного человека чекисты смогли выбить подобные показания.

И дело не в том, что то, что он показывал, не соответствовало истине. Напротив, все верно, именно вокруг этих проблем крутились наши разговоры в Одессе, как и вокруг партийно-административного засилья в искусстве и науке. Говорили мы на пляже, с глазу на глаз. В Ленинграде мы, практически, не общались. Каким образом он вообще попал в поле зрения КГБ?

— Я говорил Косцинскому, что у него только негативные взгляды, — монотонно гудел Павловский, под конец уже не столько подкрашивая, сколько перекрашивая свои собственные высказывания, — что так жить нельзя, так разрушается личность, на что он возражал, что у него существует готовая программа и что нужны только броские внешне, но пустые по существу лозунги, чтобы за ними пошел весь народ. Как пример он привел такие лозунги, как "Мир хижинам, война дворцам!", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и что-то еще...

Стоп!.. Память сработала.

Один единственный раз после Одессы мы виделись с Павловским в Ленинграде, у меня дома. В Одессе я одолжил у него деньги (это дало ему повод заявить следствию, что я предельно легкомысленный человек — заехал так далеко и оказался без денег!). Получив гонорар за какой-то перевод, я пригласил его к себе. Пришел он вместе с женой, в тот же день у меня оказался Александр Володин (псевдоним известного драматурга, который в судебном деле проходил под фамилией Лифшиц), тоже с женой. За столом я, действительно, говорил об инфляции слов и идей, о трескучей пустоте газет, о духовном обнищании интеллигенции. Фрида, жена Володина, насмешливо процитировала из пьесы Файко "Мандат": "Кирюша, выгляни в окошко, не кончилась ли советская власть?", на что я ответил, что она не кончилась, но для того, чтобы она окончательно не деградировала, нужна сложная, продуманная программа, в которую входило бы...

И я перечислил, что, по-моему, должно было бы в нее войти, добавив что-то еще относительно доходчивых

лозунгов.

Если раньше еще могли быть какие-то сомнения, то теперь стало совершенно ясно — уж этот разговор, безусловно, был записан магнитофоном. Этим-то и взяли Павловского: смертельно напуганный, дрожащий за благополучие своей семьи и ее достатка (а с какой стати, право, должен он жертвовать этим благополучем ради случайного знакомства?), он старался теперь припомнить все до последней мелочи: ведь он не просто лояльный советский гражданин, он еще и советский писатель!

Контрвопросами — с разрешения Кривошеина, конечно, — я попытался натолкнуть Павловского на мысль, что что-то можно не говорить вообще, что-то смягчить, а от каких-то утверждений вообще отказаться: "Да, тут Успенский прав, я этот разговор привел неправильно".

Однако Павловский решительно ничего не слышал и моих намеков не "читал".

Вернувшись в камеру, я задумался о другом участнике разговора — о Володине. Вызывали ли его чекисты, прижали ли?.. Как выяснилось позже, и вызывали, и прижали. Он мужественно сопротивлялся, хотя и вынужден был дать ряд показаний. Однако на суде он отлично принимал мои подачи и практически дезавуировал свои показания, что, впрочем, нисколько не помешало суду внести их в описательную часть приговора.

Допросы тянулись монотонной чередой, время тянулось медленно, я начал писать детективную историю, в которой пытался использовать свой новый опыт, много читал. При следственном изоляторе существует великолепная библиотека, частью оставшаяся от старого ДПЗ (эти книги были снабжены печатями с орлами и надписями: "Г.г. арестантов просят не делать в книгах никаких помет, подчеркиваний и надписей, так как их порча лишает других возможности пользоваться ими"), частью составленная из книг, конфискованных у "врагов народа". Именно в этой библиотеке я впервые познакомился с работами Н. Бердяева ("Философия свободы" и "Смысл творчества") и С. Булгакова ("Свет

невечерний"). У меня было ощущение, что если бы я заказал "Уроки Октября" Троцкого или "Майн Кампф" Гитлера, то получил бы их с той же обязательностью, как и другие книги. В выдаче кодексов мне, однако, отказали. Увы, говорят, что ныне порядки в этой библиотеке сильно ужесточились. Но зато, быть может, выдают Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы?

В ходе следствия произошли еще две очных ставки: с Гансовским и с его сестрой, Вероникой Чугуновой, незадолго до этого вышедшей замуж за Валентина Пикуля.

Вероника вела себя странно — приветливо улыбаясь мне, она давала показания по принципу чет и нечет: что-то, работающее на мельницу обвинения, что-то опровергающее какие-то другие показания, данные ею, видимо, раньше. Она была вздорной и неумной, но весьма практичной женщиной, и я не вполне понимал, для чего следствию понадобилось вызывать ее на эту процедуру.

Что касается Гансовского, то я очень боялся, что он тоже арестован. Страх этот был столь велик, что долгое время — вплоть до момента, когда я убедился, что он на свободе, — я периодически, то на прогулке в своем секторе знаменитого "колеса"*, то в коридоре возле камер, расписываясь в "журнале" в связи со своим возвращением с допроса, сомнамбулически выкрикивал: "Север!.. Юг!.. Север!.. Юг!.." Простодушные надзиратели, шипя на меня за нарушение тишины, считали меня, вероятно, чуть тронутым: им и в голову не могло придти, что один из этих возгласов мог означать человеческое имя.

Первые несколько дней после ареста Кривошеин

* "Колесо" – сооружение во дворе "внутренней тюрьмы", напоминающее собой лежащее колесо со "спицами" – высокими и глухими перегородками, отделяющими друг от друга отдельные секторы для прогулок заключенных. В центре "колеса" в месте его "втулки" находится площадка для "прогулочного" надзирателя.

подробно допрашивал меня о Гансовском, о наших отношениях, разговорах, переписке. Однажды он спросил меня, что мне известно о дневниках Гансовского. Я знал, что Гансовский почти ежедневно делает на машинке дневниковые записи и затем подшивает их в небольшую папку, но никогда этих записей не видел. С чистой совестью я ответил, что о дневниках мне ничего не известно.

— А вот такую, с позволения сказать, мысль он вам не высказывал? — спросил Кривошеин и, наклонившись над столом, прочел: — ”Мы живем в эпоху, когда энергию и талант можно проявить только в подлости”.

— Боюсь, что это не совсем правильно записано. Там вы, наверное, пропустили: ”...энергию и талант можно проявить только в подлости и приспособленчестве”.

— Значит, он вам показывал или читал это?

— Нет, это я написал ему в одном из писем... Я понимаю сейчас, что объективно это высказывание враждебно нашему мировоззрению, но субъективно, ощущая себя далеко не бездарным литератором и видя, как много у нас печатается безликих и серых произведений, как намного быстрее появляются в печати мои собственные поспешные, незрелые работы, как долго лежит в редакциях все то, что кажется мне удачным, — на этом фоне, внутренне, я считал эту формулу оправданной... Думаю, что у Гансовского должна быть ссылка на меня.

— Здесь ее нет.

— Тогда рассматривайте эту запись как плагиат... Мы с вами уже говорили о молодежи, на которую я оказывал невольное влияние своими резкими и часто необдуманными высказываниями. Это в полной мере относится и к Гансовскому. Хотя он лишь немного моложе меня, он всегда признавал у меня бóльший жизненный, фронтовой и литературный опыт.

Так мы и жили...

Как я уже говорил, в 1938 году, двадцатитрехлетним лейтенантиком я познакомился с НКВД. В 1943 г., двадцативосьмилетним разведчиком-майором я свел столь же недолгое знакомство с гестапо. В первом случае

я был обиженным мальчишкой, во втором — солдатом, хорошо подготовленным к встрече с врагом. И вот в 1960 году меня, зрелого человека, судьба столкнула с людьми, профессию, взгляды (а были ли у них взгляды?), методы которых я глубоко презирал, но которые тем не менее представляли м о е государство, говорили со мной от имени и по доверенности правительства м о е й страны.

Брошенная кем-то, чуть ли не Юрием Германом, летучая фраза — "Я отвечаю за все" — никогда не была для меня только фразой. Эти слова точно передавали (и продолжают передавать) мое мироощущение, мое понимание своих гражданских обязанностей, мое отношение ко всему, что происходило и происходит в этой стране и в этом мире. Слова "стыдно быть русским" пронзили меня не своей точностью или неожиданностью, но тем, что они точно передавали то, что я ощутил в 1944—46 годах в Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, а затем в октябре 1956 года и в августе 1968 года в Ленинграде, слушая радио, читая газеты. Только духовный скопец или безнадежный циник попытается объяснить ненавистью к своей стране этот стыд, это ощущение своей причастности к позорному преступлению. Увы, 25-го августа 1968 г., в воскресенье, я сидел у себя дома за письменным столом, не подозревая еще о том, что происходит в этот момент на Красной площади, но вечером, услышав по радио о демонстрации семи смельчаков, я всей душой был с ними и за них, и на этот раз мне было стыдно оттого, что я в этот момент оказался дома.

Прекрасное, мужественное слово ГРАЖДАНИН стало у нас либо синонимом щедринского обывателя ("Граждане, сдавшие 20 кг. макулатуры, получают право..."), либо приобрело чисто милицейский смысл: "Граждане, соблюдайте порядок!"

И граждане, призываемые к порядку мощным мегафоном-матюгальником, теснимые милиционерами в добротных черных полушубках, зажатые милицейскими же машинами, теснятся в переулочке возле ДЛТ,

держа в руках крохотные плакаты, прибитые к жердочкам.

Демонстрация? Протест? Недозволенный митинг?

Ничуть не бывало. В России нет Гайд-парка. На плакатиках начертаны загадочные письмена: "1975", "1976", "10", "13", "25" и что-то еще в таком роде. Нет, это не "звериное число". Здесь происходит повторная (или "двадцатипятивторная") перерегистрация трудящихся, уровень благосостояния и интеллектуального развития которых вполне достиг осознания полезности и удобства ковров в домашнем обиходе, и они, трудящиеся, затемно собравшись под этими штандартами, означающими год записи, очередь и номер "коврового" списка, в котором они числятся, презирая тридцатиградусный мороз, с неслыханным терпением, но не без скандалов, а иногда и не без легких скорее "локте-", чем "рукопашных", ждут, когда избранный ими или самоназначенный их представитель внесет вожделенную "галочку" в надлежащий список.

Не нужны мне эти ковры, граждане, хотя интеллектуально я давно достиг этого уровня. Проживу я без ковров. Но вот жить, не имея права сказать вслух — пусть это даже никого, кроме меня самого, не интересует! — вслух сказать все, что я по этому поводу думаю, так же, как и то, что я думаю по многим другим поводам, — жить без этого я не могу.

Я вполне благонамеренный гражданин. Я чту уголовный кодекс, хотя он и противоречит Конституции, а Конституция — Всеобщей декларации прав. Я не выходил (увы!) на Красную площадь с плакатами, ни к Смольному, ни даже к Дому ленинградской торговли. Я не выпускал подпольных изданий. Я пытался писать книжки о том, что мне представляется интересным не только для меня одного. И — в минуты отдыха — сидел у себя дома за чашкой чая, изредка — с рюмкой водки или стаканом вина и обсуждал с друзьями проблемы, которые волнуют нас всех, в том числе и вас, глубоконеуважаемые следователи.

Я занимался СЛОВОБЛУДИЕМ, граждане судьи, —

любимым занятием российского интеллигента. Я был прав *по существу*, ибо осуществлял дарованную мне Конституцией свободу слова (а не печати, заметьте!) и данную Господом свободу мысли.

Но в России всякое право должно быть подтверждено дополнительным разрешением надлежащего начальства, какового (ни начальства, ни дозволения) у меня не было и, следовательно, о б ъ е к т и в н о, высказывая недозволенные мысли, я совершал антигосударственные деяния. Я осмелился отдельные ошибки и извращения культа личности распространять на многие (заметьте: всего лишь *на многие*, не на все!) явления хозяйственно-политической жизни общества; я клеветнически утверждал, что в Советском Союзе нет свободы слова; более того, я допускал подобные высказывания в присутствии американцев (которые до того, конечно же, были уверены в обратном!) и всеми этими деяниями ослаблял (и, очевидно, неизмеримо ослабил) мощнейшее государство в мире.

"Отвечал за все? Да кто тебе, вражина, дал такое право? Партия, ее мудрый ленинский ЦК и наше правительство — вот кто отвечает, а не ты, падло!"

По доверенности партии и правительства люди в мундирах государственной безопасности готовили меня к тому, чтобы на предстоящем суде я назвал бы антисоветскими, т.е. антигражданственными, те действия, в которых так робко, так неполноценно проявлялась моя гражданственность. Они готовили меня к тому, что чем упорнее, чем настойчивее я буду отстаивать свои гражданские и человеческие права, тем дольше я буду рассматривать "небо в крупную клеточку".

И я отступал. У меня не было тыла. За мной не было людей, которых я должен был бы прикрыть или защитить, разве лишь Гансовского — ближайшего друга и единомышленника.

Что же касается меня самого, то тут... Нет, не по глупости, но все из того же рабьего страха перед ожидающей меня "справедливой карой", перед неизвестностью, я понемногу пятился, пытаясь спрятать от самого

себя свои полупризнания в несовершенных мною преступлениях за ссылками на непреднамеренное, но "объективно антисоветское" значение того или иного высказывания. И Кривошеин, верхним чутьем учуяв, что это удобная отмычка, широко пользовался ею.

— *Мыслить* вам никто не запрещает, — в унисон твердили мне кривошеины, роговы, шумиловы и, листая мои записные книжки или фронтовые дневники, тыкали пальцами в отчеркнутые красным карандашом строки: "Вся история России на протяжении столетий — история раба, тщетно пытающегося выпрямиться. Разинщина, пугачевщина, в лучшем случае — нечаевщина, это все на что мы способны. Народовольцы убили Александра Второго за полчаса до того, как он должен был подписать пусть куцую, но первую в истории России конституцию".

— А это? Этим что вы хотели сказать?

— Но это же не высказывание. Это мысль, занесенная в записную книжку. И не моя к тому же.

— Чья же?

— Павла Николаевича Милюкова. Из его "Размышлений о русской культуре".

(У Милюкова нет ни подобной работы, ни этой мысли.)

Имя Милюкова у всех троих вызывает какие-то нехорошие ассоциации. Все трое подозрительно разглядывают меня.

— Ну, а Милюков-то вам зачем? — спрашивает самый образованный из них Кривошеин. И поскольку при этом присутствует высокое начальство, голос его звучит особенно требовательно.

Уже в который раз я ссылаюсь на неведомого мне героя незадуманного еще романа, и Кривошеин тут же, со знанием дела:

— Безусловно, трудно судить о ненаписанной вещи, — говорит он (это не помешает ему отправить на "экспертизу" отобранные у меня незаконченные вещи, а "экспертам" — членам Союза писателей П. Журу, П. Капице и некой даме с философского факультета

ЛГУ — оценить их антисоветскими), — но объективно это вряд ли было полезно.

— Вы все еще не понимаете задач, стоящих перед советским писателем, — вставляет Шумилов.

— Вы находите, что я пойму их в тюрьме? — слабо обороняюсь я.

— В тюрьме — нет. А вот в лагере, когда начнете создавать материальные ценности, вы сможете понять и объективные законы действительности.

— Я, кажется, уже начинаю их понимать. Вот Михаил Сазонов, вытачивающий то ли болты, то ли гайки, их давно понимает.

— При чем тут Сазонов?

— Как вам известно, в промежутках между гайками и тем, что он называет стихами, он пишет еще доносы.

— Пять суток карцера! — вдруг грохочет Рогов.

В карцер меня все же не помещают, но я еще более приближаюсь к пониманию объективных законов. Вообще, о б ъ е к т и в н о и о б ъ е к т и в н ы й становились у нас чуть ли не наиболее часто употребляемыми словами.

Увы, я все еще не чувствовал себя пленным в стане врагов — это ощущение придет еще не скоро, после этапов и пересылок, после разговоров с десятками и десятками людей, когда я, так до сих пор и не разучившийся удивляться, встречусь и подружусь с людьми, которыми страна должна была бы гордиться, но держала их в тюрьмах и лагерях как ”особо опасных государственных преступников”.

Но до этого еще далеко, а пока я уже второй месяц сижу в одиночке и ломаю извилины над тем, что ждет меня на очередном допросе, какой сюрприз подготовит мне Кривошеин на следующий раз.

Скрежещут, щелкают замки и засовы, дверь открывается, голос выводного негромко произносит ”К следователю”, по гулкой железной лестнице мы поднимаемся на второй этаж, надзирательница МВД, охраняющая дверь, ведущую из тюрьмы в главное здание,

открывает ее, мы пересекаем висячий коридор, сворачиваем направо, еще раз направо и — предпоследняя дверь по левой стороне — кабинет Кривошеина.

Выводной — красивый парень лет двадцати с небольшим, со старшинскими нашивками на гебистских погонах — стучится в дверь.

— Войдите, — слышу я голос Кривошеина, дверь открывается, и я вижу Гансовского, сидящего на "свидетельском" стуле по ту сторону дивана. Сердце у меня обрывается.

— Здравствуй, Север, — сдавленно говорю я.

Север, бледный, похудевший, но в яркой — с пальмами и чем-то еще — рубашке, кивнул в ответ.

— Друг к другу не подходить, знаками не обмениваться, вопросы задавать и на вопросы отвечать только с моего разрешения, — отчетливо, не спуская с нас глаз, произносит Кривошеин.

Я сел, нервно закурил.

— Успенский, расскажите о своих отношениях с Гансовским.

Я с трудом перевожу дыхание и собираюсь с мыслями.

Значит, все... Севера тоже посадили. Если бы его вызвали на очную ставку с "воли", то первым должен был бы давать показания он, обличая меня в преступных деяниях. Однако Кривошеин предоставляет это почетное право мне.

— Гансовского я близко знаю с лета пятьдесят четвертого года. Мы сблизились благодаря общности наших профессиональных и эстетических взглядов и, вероятно, из-за того, что нас обоих волнует тема войны. Однако за последние полтора-два года, отчасти из-за того, что я резко критиковал Гансовского за его антиамериканские рассказы, но главным образом из-за моих крайне резких, объективно антисоветских высказываний, касавшихся многих областей нашей общественно-политической жизни, мы с ним разошлись и наши отношения приобрели чисто приятельский характер, — так

или приблизительно так, но значительно пространней, ответил я на вопрос.

Гансовский подтвердил мои слова, ответил на два или три совершенно несущественных (или незапомнившихся мне) вопроса, и очная ставка закончилась подписанием короткого протокола. Кривошеин снял трубку и вызвал конвойного.

— Вот это вы отдадите в бухгалтерию на первом этаже. — Кривошеин протянул Гансовскому бумажки. — Вам оплатят проезд в Ленинград, а за обратный проезд вы получите, когда вышлете в бухгалтерию билеты. Гостиницей вы ведь не пользовались?

Огромная глыба, давившая мне на грудь, скатилась. Я вздохнул с облегчением и вытянул из кармана кулек с леденцами — они помогали мне меньше курить.

— Хочешь?.. Иногда помогает.

Хмурый, сосредоточенный, Север отрицательно качнул головой. ”Ну и правильно, — подумал я. — Им незачем знать, что мы оба лжесвидетельствуем”.

Один из надзирателей, по вечерам часто беседовавший со мной через ”кормушку”, порадовался за меня: я, очевидно, вылечился от странной болезни и больше не выкрикивал: ”север!.. юг!..”

Я и в самом деле вылечился и, успокоившись за Гансовского, пытался проследить его логику. Заранее зная, что я приписываю себе все резкости, которые могли быть услышаны в наших разговорах и прочитаны в переписке, он, видимо, выработал тактику поведения на следствии, а позднее, уже на суде, предпримет какую-то акцию, точно рассчитанную и хорошо продуманную.

...Прошло еще два или три незапомнившихся мне допроса. На одном из них присутствовал один из помощников прокурора города, который даже не дослушал до конца мою жалобу на незаконное изъятие кодексов и лишение газет. Затем прошла еще неделя, когда меня никуда не вызывали, и вот — снова кабинет Кривошеина, с дивана поднимается полная моложавая дама и, с улыбкой протянув мне руку, говорит:

— Валентина Валерьяновна доверила мне вашу

защиту. Меня зовут Ирина Михайловна Отлягова. — И уже официально, но с той же улыбкой: — Сегодня мы вместе с вами будем знакомиться с вашим делом.

На столе, перпендикулярно приставленном к столу Кривошеина, за которым я сидел в день ареста, лежат две папки толщиной в руку каждая. "Хранить вечно" набрано крупным шрифтом в верхнем правом углу, там, где обычно ставится гриф "секретно" или "совершенно секретно". Папки, впрочем, тоже были "секретными", каким, видимо, будет и процесс.

В ходе следствия Кривошеин несколько раз пускался в рассуждения о том, что КГБ нечего скрывать от народа, что надо мною будет учинен открытый процесс: "Пусть все видят и знают, что сейчас мы..." — и т. д. и т. п. Но постепенно его энтузиазм улетучился: и сам Кривошеин, и надлежащее начальство отлично понимали, что открыто обвинять, с у д и т ь человека за то, что он к л е в е т н и ч е с к и утверждал, что в стране отсутствует свобода слова, невозможно.

Знакомство с делом принесло много сюрпризов, но, пожалуй, самым главным из них были показания Гансовского.

Из протокола обыска, произведенного у Гансовского, явствовало, что чекисты вошли к нему в тот момент, когда я садился в ленинградский самолет: они, очевидно, опасались, что я, проведя три дня у Гансовского, мог что-либо забыть у него или вспомнить что-либо недосказанное, вернуться, позвонить по телефону и... Впрочем, телефон они могли и отключить, как они сделали во время обыска у меня.

Еще в ходе следствия я узнал, что у Гансовского изъяли среди прочего дневник. Но вот что я прочитал в протоколе допроса, произведенного Кривошеиным в Москве через два дня после обыска и как раз в тот день, когда я упрашивал Н. съездить в Москву:

> *Вопрос:* Чем вы можете объяснить свои злобные антисоветские записи в дневнике?
>
> *Ответ:* Записи в дневнике носят подобный

характер по ряду причин. Среди них могу назвать следующие: 1. Длительный, затянувшийся творческий кризис. 2. Чрезвычайно тяжелые материальные и жилищные условия. 3. Речь тов. Хрущева на XX съезде КПСС, которая произвела на меня чрезвычайно глубокое впечатление; и 4. Влияние моего бывшего друга К. В. Успенского и его постоянные резкие, грубо антисоветские высказывания (лист дела 168/об).

Прочитав такое, я, несомненно, пришел бы к выводу, что это грубая фальшивка гебистов, если бы на каждой странице не стояла характерная подпись Гансовского и если бы на нескольких страницах не были бы внесены уточняющие поправки, сделанные таким же характерным почерком.

Кстати, подобных протоколов было несколько. У меня сохранились некоторые выписки из них, в частности:

Успенский считал, что после XX съезда КПСС в стране ничего не переменилось (л/д 172).

(Я считал, что переменилось чрезвычайно многое. Я считал — и считаю сейчас, как уже говорил об этом, — что речь Хрущева положила начало необратимому процессу демократизации, хотя и чрезвычайно сложному, как любое общественное явление, происходящее в России.)

Антисоветские взгляды были внушены мне Успенским. Отказавшись от них, я смог преодолеть свой творческий кризис (там же).

И где-то еще:

Он, Успенский, охаивал все самое дорогое, самое святое для советского человека.

Последнее утверждение слово в слово повторила Вероника Чугунова, сестра Гансовского (л/д 189/об.). Она же заявила, что я ездил к Пастернаку специально для того, чтобы выразить ему свою солидарность по поводу кампании (я бы сказал "травли"), ведущейся против него в прессе. Позднее, воспользовавшись своим "близким знакомством" с Леонардом Бернстайном, показывала Чугунова, я якобы советовал ему прервать концерт и поздравить присутствующего на нем Пастернака с Нобелевской премией (л/д 190), от которой он, Пастернак, уже давно отказался.

Поразил меня и Валентин Пикуль. Правда, хотя и несомненно талантливый (я бы сказал — пузом талантливый), но не очень умный и вполне необразованный человек, что отчетливо просматривается в его ныне столь популярных у советского обывателя многопудовых романах, он всецело находился под влиянием своей супруги, Чугуновой, и ее брата — Гансовского. В довольно коротких показаниях он подтвердил основные "идеологические" обвинения, высказанные Вероникой, и добавил, что я всегда оппозиционно относился к Советской власти и ее мероприятиям и называл ее разновидностью фашизма. Позднее, на суде, он превратил свои показания в мелодраматическое обращение ко мне:

— Кирилл, но ты хотя бы теперь понимаешь всю глубину своих заблуждений, которые привели тебя сюда, на скамью подсудимых? Почему ты не слушал моих предостережений?

Предостережений мне Пикуль не делал. Во время наших совместных с Гансовским встреч и разговоров он молчал, слушал, разве лишь не раскрыв рот, и соглашался со всем, что мы говорили, даже если наши позиции по какому-либо вопросу были диаметрально противоположны.

С Пикулем я познакомился году в сорок седьмом, зимой, когда он в бараньем тулупе и нелепой фетровой шляпе изредка появлялся на занятиях литературного объединения при Союзе писателей, которым руководил

покойный Всеволод Рождественский. Он писал в то время недурные для начинающего стихи и не помышлял о прозе. К прозе он пришел значительно позже, и путь его в печать был долог и труден. Он нигде не работал, мать его получала гроши, Пикуль приходил ко мне зеленый от хронического недоедания, и Валентина Валерьяновна кормила его.

В 1954 году, с помощью Андрея Хршановского, бывшего главного редактора Ленинградского отделения издательства "Молодая гвардия", и Маргариты Довлатовой, редактора в том же издательстве, Пикуль дотянул до печати свой первый "кирпич" — "Океанский патруль".

У меня сохранился экземпляр этого романа с автографом, который в равной мере передает как тогдашнее отношение автора ко мне, так и безудержное многословие, столь характерное для его книг:

> Дорогому Кириллу Косцинскому (Успенскому) — человеку, которого я искренне люблю и ценю, как доброго и славного юношу (в это время мне было 39 — К. К.). Последнее слово — не описка : ты, действительно, так добр и горяч, как возможно только в годы юности, и я не знаю людей нашего круга, кому бы ты сделал зло, — зло делают старцы или духовные, вернее, одряхлевшие импотенты. Дай Бог тебе всего хорошего, помоги освободиться от печали, праздности и уныния. Тебя всегда украшало грубое солдатское мужество, переходящее подчас в дерзость, и суровая литературная принципиальность (я сужу по себе). Еще раз желаю освободиться ото всего, что вносит смятение в твою душу, и верю — уляжется муть, останется хрустальная вода, через толщу которой мы все разглядим чистое дно твоего большого литературного сердца.
>
> Твой навсегда друг, от чего никогда не откажусь, и автор этого романа, от чего тоже не отказываюсь.
>
> 26.03.54 г. В. Пикуль

Это, вероятно, самый длинный автограф в истории литературы XX-го века и, безусловно, один из самых выспренных и манерных.

Чтобы добавить последний штрих к семейному портрету Гансовского-Пикулей, не могу не сообщить, что моя жена, приехав на свидание, с горечью рассказала, что целый ряд моих литературных друзей всячески избегает ее. Очень скоро выяснилось, что Гансовский, Чугунова и Пикуль распространяли слухи, будто именно она "посадила" меня, дав самые резкие "обличающие показания".

Сюрпризы в моем деле не кончились на показаниях Гансовского-Чугуновой.

Были еще изобличающие меня показания полковника Е. Шаповалова, преподавателя тактики в Военно-политической академии им. Ленина, когда-то моего подчиненного, с которым мы неожиданно встретились в середине 50-х годов и восстановили приятельские отношения. Он пространно описывал мое отрицательное отношение к политработникам, которых я называл безграмотными бездельниками и доносчиками, мое негодование по поводу венгерских событий и, для равновесия, приписывал мне несовершенные мною боевые подвиги.

Был еще генерал М. Алябин, командир дивизии, а в 1944 г., когда я после изгнания из партии и из разведки ехал в полк — заместитель начальника штаба дивизии. Бесшабашный весельчак и пьяница, редко бывавший трезвым как в годы войны, так и после нее, он сообщил мне тогда, что вдогонку мне пришел приказ НКО о присвоении мне звания подполковника, и сам приколол к моим погонам недостающие звездочки. Приказ был довольно старый, его, видимо, попридержали в штабе армии, чтобы я не имел оснований отказаться от назначения на должность начальника штаба полка — это было сильным понижением, а служебные отзывы у меня были безупречные.

В 1956 г. мы встретились с Алябиным в Одессе, куда я попал на "военно-писательские" сборы, а он командовал

полком. В Одессе оказалось множество моих фронтовых знакомых — и в штабе округа, и в штабе расположенной в городе дивизии, с командиром которой я кончал когда-то военное училище. Сборы были пустые, мы — человек пять литераторов — проводили их главным образом на пляже, а по вечерам, если не шли в ресторан, я оказывался у кого-либо из армейских приятелей. У меня был с собой "Теркин на том свете" — в первом варианте, значительно более сильном, чем тот, что был опубликован шесть лет спустя, я всюду читал его — под слезы и хохот окружающих.

Все кончилось хорошо, мы, "письменники", разъехались по домам — это было в августе, а четыре года спустя, знакомясь с делом, я наткнулся на донос — именно донос! — Алябина, написанный почему-то через полгода после нашей встречи, в феврале 1957 г. Почему он так долго медлил? Терзался между угрызениями совести и партийным долгом? Или это была плата за генеральское звание и командование дивизией? Донос начинался классической фразой: "Желая узнать политическое лицо Успенского ближе, я пригласил его к себе, сказав жене, чтобы /она/ приготовила достаточно водки и закуску получше (. . .). Я еще в годы войны знал, что он исключен из партии за троцкистские взгляды" (л/д 180).

Когда в 1967 г., уже после моей отсидки, мы столкнулись с Алябиным в Ногинске на встрече ветеранов 40-ой гвардейской дивизии, он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону (бывший троцкист все же!), а его жена, Тоня, бывшая когда-то связисткой в штабе дивизии, улучив минуту, обняла меня и шепнула: "Не сердись на меня, Кирилл. Я здесь ни при чем".

Три года спустя Алябин умер естественной для этого типа людей смертью — от алкогольного отравления.

Удивил меня и И. Годлевский. Он был одним из тех пяти-шести художников, в мастерские которых я водил Леонарда Бернстайна и его оркестрантов. Годлевского я знал мало: его пасынок учился в школе вместе с

моим сыном, раз или два я был в его мастерской. Для американцев он был, конечно, экзотичен: он писал суздальские, владимирские, угличские пейзажи в манере Альбера Марке. Мои приятели купили у Годлевского восемь или десять холстов на 11 тысяч (старых) рублей — по его собственным подсчетам, — за которые он не взял ни копейки, обязав их расплатиться альбомами по искусству. Говорят, что сейчас у него одно из лучших собраний подобных изданий в городе.

Через день или два после обыска Годлевский, ничего не зная об этом, позвонил мне, пригласил на день рождения. Я ответил, что очень занят и не смогу придти, а еще через день или два, при встрече, извинился и рассказал, почему не пришел. Он был возмущен до крайности:

— С-сволочи! Когда это, наконец, кончится?!

Недреманое око госбезопасности приметило и Годлевского. На следствии он дул в дудку следователя: Успенский охаивал все и вся, да еще навязал ему, Годлевскому, американцев и в разговоре с ними — с американцами! — восхвалял американский образ жизни.

Это гос-безопасное око несомненно приметило и других людей, с которыми я общался, но вызывались они на следствие очень избирательно. Не вызывали крупных писателей — Веру Панову, Ольгу Бергольц, не вызывали и таких, с которыми могла произойти ошибка, подобная той, что вышла у них с Кучеровым. Любопытно, что протоколы допросов нескольких человек — о том, что они вызывались и допрашивались, было ясно из каких-то оговорок и проговорок то Кривошеина, то Рогова, — отсутствовали. Были ли это "свои" люди, агентура, которую они не хотели раскрывать? Так, например, отсутствовал протокол допроса Константина Ларина (Лоренца), московского журналиста, долго сидевшего по причине своего немецкого происхождения, реабилитированного в 1956 г. и в мае 1960 г. ездившего со мной в командировку от "Литературной газеты". Кривошеин часто ссылался на его показания, весьма для меня невыгодные. Почему их не было в деле и имя его ни разу не упоминалось на суде?

Комический эпизод произошел в связи с Леонардом Бернстайном.

Не могу сказать, что я общался с ним очень много, и еще менее, что мы с ним были "близко знакомы", но виделись мы несколько раз, в Москве и в Ленинграде, в гостинице и у меня дома. Однажды он пригласил меня к обеду. В тогдашнем "Восточном" ресторане (ныне "Садко") за большим круглым столом сидело человек пять, среди них жена Бернстайна, второй дирижер оркестра — недавно умерший Том Шипперс, корреспондент "Нью-Йорк Таймс", имени которого я не помню, и дама лет тридцати-сорока, с тяжелым, хмурым лицом. Бернстайн представил всех друг другу.

— А вот это миссис Шульгин, наша прелестная переводчица ("Ах, ну и льстец", — подумал я), без которой мы чувствовали бы себя здесь как в дремучем лесу.

Миссис Шульгин, несмотря на свое хмурое лицо, принимала оживленное участие в разговоре. Говорила она с отчетливым американским, пожалуй, нью-йоркским акцентом. Разговор касался каких-то бытовых тем, и миссис Шульгин довольно резко критиковала систему сервиса в Советском Союзе и в "Интуристе". Улучив момент, я спросил ее, не родственница ли она Василия Витальевича Шульгина, бывшего издателя и редактора "Киевлянина" и члена всех трех Государственных дум. Я тогда не знал, что Шульгин в 1944 г., в шестидесятивосьмилетнем возрасте был арестован в Белграде и, кажется, вместе с генералами Красновым и Шкуро привезен в Москву, где получил свои 25 лет. После двенадцати лет владимирской "крытки" он был помилован и получил разрешение жить во Владимире. Уже в лагере я прочитал его знаменитое обращение к эмиграции, в котором, никак не открещиваясь от своего прошлого, он призывал своих компатриотов внимательнее присмотреться к советской действительности (как-то не очень уверен я в том, что обращение это было вполне искренним). Уже на воле, году в 1966-ом, я увидел эрмлеровский фильм "Свидетель истории", в котором восьмидесятишестилетний старец,

несмотря на все усилия режиссера, никак не втискивается в узкие рамки пропагандистского фильма. Даже в самом финале, встретившись в кремлевском Дворце съездов (совершенно случайно, конечно!) со своим девяностолетним и куда более бодрым ровесником, Ф. Н. Петровым, он не может дослушать до конца обличительную речь старейшего большевика и, гневно пристукнув своей палочкой, уходит из дворца и из фильма.

Но тогда я ничего этого не знал и, поскольку Шульгина ответила на мой вопрос утвердительно, я сразу изменил свое отношение к ней. Монархизм мне бесконечно чужд, но Шульгин, верноподданически просивший Николая Второго отречься от престола во благо отчизны, дважды нелегально приезжавший в СССР и написавший великолепные, хотя и очень субъективные воспоминания (в чем, собственно, и состоит их прелесть!), — В. В. Шульгин был личностью легендарной, даже мифической. Познакомиться с его родственницей было чрезвычайно интересно.

Но разговор неизбежно перешел на темы искусства, я столь же неизбежно оказался в центре внимания и на вопросы о характере партийного руководства и контроля в литературе ответил, что мои собеседники представляют его себе весьма примитивно. Я рассказал о "внутреннем редакторе", об издательских редакторах, которые подбираются по известным принципам, о том, что партийные органы крайне редко непосредственно вмешиваются в литературный процесс (Жданова уже давно не было) и чаще всего осуществляют руководство им либо общими указаниями в прессе о нужности той или иной темы с его, руководства, точки зрения, либо политикой НЕиздания, ПЕРЕиздания и тиражей. И все же время от времени выходят смелые, неожиданные книги, и среди них я назвал очерки Овечкина, "Оттепель" Эренбурга, "Не хлебом единым" Дудинцева. Не удержался я и от искушения, назвав также свой сборник "Труд войны", написанный в основном в 1947—48 гг. и вышедший из печати лишь в 1956-ом году — лучшую из опубликованных мною книг. Я только

что подарил экземпляр Бернстайну, он лежал на столе рядом с ним.

— Да, но теперь вы можете, по крайней мере, купить любую газету! — не без резкости сказала вдруг "миссис Шульгин".

Я посмотрел на нее с удивлением:

— "Дэйли Уоркер"? "Юманите"? "Унита"?

— Почему? Любую западную газету!

— О, боги! — с выражением крайнего ужаса я схватился за голову. — А я каждый день провожу два-три часа в спецхране для того, чтобы познакомиться с ними. Лэнни, — повернулся я к Бернстайну, — после обеда сходим вместе с миссис Шульгин в ближайший киоск и посмотрим, что пишет "Нью-Йорк Таймс" о ваших гастролях.

Шульгина заметно покраснела, а Бернстайн поспешил загладить неловкость:

— Кирилл, не обижайте самую прелестную женщину и лучшую переводчицу в вашей стране.

Хотя в ходе разговора я не произнес ничего очень уж криминального, но все же я сел в хорошую лужу.

Далеко не все иностранцы, приезжающие в СССР, знают, что подавляющее большинство гидов "Интуриста", как бы милы и приветливы они ни были, являются по совместительству информаторами КГБ. Усадив своих подопечных в самолет или проводив их до границы, сделав им на прощание ручкой (и зажимая в другой полученные им "на чай" доллары, франки или лиры), гид тут же принимается за свой так называемый "отчет", в котором он/она обязан со всеми возможными подробностями описать характер и настроения своего "подотчетного" и, в особенности, все его встречи с советскими гражданами и содержание их разговоров.*

Гидами при заметных официальных или полуофициальных лицах назначаются особо доверенные люди. Их отчеты чрезвычайно подробны.

---

* Автор ошибается – такие отчеты пишутся гидами "Интуриста" ежедневно, а не после отъезда туриста. (Прим. редактора.)

Из включенного в дело протокола допроса Шульгиной, которая не пожалела красок для описания нашей единственной встречи (л/д 240—242), отчетливо видно, что допрос велся работником КГБ, курирующим "Интурист" и не имевшим ни малейшего представления ни обо мне, ни о моем "деле". Это был во всем "деле" единственный документ, где я фигурировал под своим литературным псевдонимом, как представил меня Бернстайн и как было обозначено на книге, которую Шульгина не преминула полистать.

Эта история имела любопытное продолжение.

В 1962 г. "Лениздат" выпустил брошюрку под интригующим названием: "Враг не достигнет цели". Авторами этой вполне макулатурной книжонки были В. Н. Лякин, П. М. Петров, К. Г. Рогов и Н. П. Чурсинов. С Роговым читатель уже знаком, полковник Лякин в то время был заместителем Шумилова, остальные авторы этого опуса мне неизвестны. На 91-ой странице изложена моя "уголовная история" — по принципу 5% правды, 95% клеветы, — а сам я — с тем, видимо, чтобы я никого не мог бы обвинить в клевете (теперь этого, если судить по статьям о Гинзбурге, Щаранском, и Григоренко, не опасаются), — выведен под "псевдонимом" В. Д. Угарова.

Оный Угаров встречается с несколькими туристами, которые "решили не церемониться с ним", "вручили ему несколько антисоветских книжек и предложили позже обсудить с ними содержание их" — ну, совершенно как в "сети партийного просвещения"! "Несколько месяцев спустя его квартиру посетил американец Леонард Берстайн (так в тексте: маленькая "случайная" ошибочка — опущена всего одна буква, и не придерешься!). Этот гость безо всяких обиняков и дальних подходов стал продолжать его (Угарова) обрабатывать".

Леонард Бернстайн — дирижер и композитор с мировым именем — в роли мелкого антисоветчика! От такого, как говорят азербайджанцы, даже кура в супе рассмеется.

Посвященный мне эпизод заканчивается мажорно:

"Не трудно понять, что, если бы советские люди вовремя не вмешались бы в жизнь Угарова, то его 'деятельность' закончилась бы довольно печально". Хотелось бы узнать, каких именно "советских людей" имели в виду авторы этого "исследования": тех ли, которые устанавливали у меня на квартире прослушивающую технику, или тех, кого шантажом и угрозами заставили давать показания, противоречившие их взглядам и нравственным принципам? И что гуманисты из КГБ подразумевали под "печальным" окончанием?

Кстати, не лишено интереса, что эта книжонка выпущена тиражем 100 тысяч экземпляров, а год спустя издана вторично в таком же количестве (это вот на издание Цветаевой или Мандельштама не хватает бумаги!).

Между прочим, в этом втором издании на страницах 175—176 описываются мошеннические похождения некоего А. А. Петрова-Агатова, разоблаченного в 1962 году бдительными чекистами. Сей Петров-Агатов "раскаялся" и начал подвизаться на ниве изготовления фальшивок — на сей раз уже по заданию и поручению КГБ. Это им написаны гнусные статьи, имеющие целью очернить А. Гинзбурга, В. Буковского, П. Г. Григоренко и всех, кого найдет нужным облить грязью все то же КГБ.

Итак, несмотря на все помехи, которые мне чинил Кривошеин, то грубо торопя меня, то заявляя, что если я не окончу ознакомление с делом "к завтрашнему дню", то придется просить отсрочку и дело затянется еще на два месяца, так или иначе я ознакомился со всеми документами, подписал протокол об окончании следствия и — через час или полтора после возвращения в камеру, безо всякой просьбы с моей стороны, — мне принесли отобранные у меня кодексы и свежую газету. Тут же мне было заявлено, что газеты будут доставляться ежедневно, а их стоимость сниматься с моего текущего счета (денег, переданных в тюрьму женой).

Кодексы — это было превосходно! Естественно,

что более всего меня интересовал теперь Уголовно-процессуальный кодекс.

Обыватель, каковым, безусловно, являлся и я, по наивности своей более всего страшится Уголовного кодекса, полагая, что именно он, УК, грозит ему основными бедами. Объясняется это главным образом тем, что он, обыватель, не знает, что наше уголовное законодательство — самое гуманное в мире, ибо предусматривает смертную казнь "в виде исключительной меры, впредь до ее полной отмены" (ст. 23 УК РСФСР) лишь по тридцати восьми статьям (количество которых медленно, но весьма неуклонно увеличивается). Для сравнения отметим, что Уголовный кодекс, действовавший до 1960 г., предусматривал применение "высшей меры социальной защиты" в пятидесяти двух случаях. Кстати, давно намечавшаяся тенденция к гуманизации проявилась в упраздненном кодексе, в частности, в том, что в нем постоянно путаются термины: то "мера социальной защиты", то "наказание"; то "высшая мера социальной защиты", то неделикатное "расстрел". В терминологическом отношении предпочтение следует отдать, безусловно, новому кодексу. В нем прямо и недвусмысленно, без экивоков, сказано: "смертная казнь".

Чтобы читателю все было еще более понятно, отметим, что в Европе, кроме Франции, Испании и, естественно, всех социалистических стран, смертная казнь не существует.

Так или иначе, Уголовный кодекс называет то или иное преступление и устанавливает, в зависимости от его тяжести и вызванных им последствий, ту или иную кару: "от" и "до" такого-то количества лет лишения свободы, а с мая 1961 г. еще с добавлением "с" или "без" дополнительной меры наказания в виде ссылки сроком от двух лет (естественно, что наши либеральные суды отдают предпочтение "с"). Этой меры старый Уголовный кодекс, принятый в 1926 г., не знал. В пункте "ж" статьи 20 этого кодекса было предусмотрено "удаление из пределов РСФСР или из пределов отдельной местности с обязательным поселением в других мест-

ностях или без этого, или с запрещением проживания в отдельных местностях, либо без этого запрещения". Слово "ссылка" слишком уж остро ассоциировалось с юридической практикой проклятого царского правительства. И даже я помню, как в детстве меня поразили слова отца об одном из его старых знакомых: "Так он уже два года в ссылке!" Старый большевик, фронтовой товарищ отца, член петроградского комитета РСДРП(б) перед Октябрем — он в ссылке!

Здесь имеет смысл добавить, что хотя по букве закона — т. е. Уголовного кодекса — только суд определяет режим содержания заключенного (общий, усиленный, строгий или особый), в том же мае 1961 года все заключенные, отбывавшие наказание по статье 58, пункт 10 ("антисоветская пропаганда и агитация", нынешняя статья 70-ая), были без всякого судебного рассмотрения, "гуртом", переведены с общего режима на "усиленный", а в декабре того же года — на "строгий" со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, тот самый Законодатель, который в 1960 г. в статье 6 нового УК РСФСР записал, что "закон... усиливающий наказание, обратной силы не имеет", менее чем через год еще раз подтвердил, что оному Законодателю закон не писан и он, действительно, может ворочать им в любом направлении, как то самое пресловутое дышло.

Одно и то же преступление (с нашей, обывательской точки зрения) Уголовный кодекс может квалифицировать по разному. То, что мы назовем просто убийством, в кодексе квалифицируется шестью различными вариантами по их сложности и опасности. Статья 70-я получила в 1966 г. подпорку в виде статьи 190-1 ("Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй" — до 3-х лет лишения свободы, или исправительные работы до 1-го года, или штраф до 100 рублей).

Юридическая грамотность в поединке обвиняемого со следователем может сыграть важную, а иной раз и решающую роль. Так, Сергей Пирогов, получивший в 1958 г. по "десятому пункту" восемь лет и отбывший

их ”от звонка до звонка”, в 1973 году вынудил следствие отказаться от вменявшейся ему статьи 70-й УК (по которой он как ”особо-опасный рецедивист” получил бы 10 лет, из них половину на убийственном ”особом режиме”) и переквалифицировать ее на ст. 190-1. При этом он впервые в истории советского политического процесса по окончании девятимесячного следствия ”под стражей”, вопреки настоянию КГБ и архангельской прокуратуры, вышел на свободу под подписку о невыезде и лишь через месяц после вынесения приговора был вновь взят под стражу, получив 3 года на ”общем режиме”. Крупный математик Револьт Пименов, в том же 1958 г. приговоренный к 10 годам лишения свободы, по настоянию научных кругов освобожденный после пяти лет отсидки и в 1972 году вновь обвиненный по статье 70, сумел разрушить сложные сооружения обвинения и отправиться в трехлетнюю ссылку в Сыктывкар, получив наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей.

В том и в другом случае существенную роль сыграл собственный ”юридический опыт”, но и не меньшую — знакомство с законодательством и, в первую очередь, с Уголовно-процессуальным кодексом.

И вот, получив этот кодекс, я принялся за его детальное изучение. Я сделал множество открытий, но главное из них могло быть сделано априори — в продолжении двух месяцев я имел дело с двумя мерзавцами, двумя мошенниками — Кривошеиным и Роговым, ибо иначе назвать людей, облеченных доверием государства и бессовестно нарушающих это доверие, да и сам Закон, невозможно. Впрочем, весьма вероятно, что доверие как раз и состояло в том, что они, как и все прочие деятели советской юстиции, готовы нарушать Закон и законы всякий раз, как и когда это выгодно кучке гангстеров, составляющих так называемое ”советское правительство”.

Не буду перечислять в с е нарушения закона, которые были произведены ими в ходе следствия, их было слишком много. Назову лишь два-три.

Статья 111 УПК (я ссылаюсь на УПК 1923 г., отмененный лишь с принятием нового УПК в 1964 г.) гласит: "...следователь обязан выяснить и исследовать обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, как усиливающие, так и смягчающие степень и характер его ответственности" (заметим в скобках, что это требование УПК полностью относится и к суду).

Следующая, 112-я статья, обязывая следователя направлять следствие "в сторону наиболее полного и всестороннего рассмотрения дела", подчеркивает, что он "не вправе отказать обвиняемому в допросе (в Д О П Р О С Е !) свидетелей и экспертов (которых я вообще не видел, хотя на суде требовал их вызова! — К. К.) и в собирании других доказательств, если обстоятельства, об установлении которых он ходатайствует, могут иметь значение для дела". На следствии мне было запрещено не только *допрашивать*, но даже задавать вопросы.

Сам факт изъятия у меня при аресте кодексов был не просто незаконным, но ПРОТИВОзаконным действием, должностным преступлением. Статья 13 "Основ уголовного законодательства", принятых в 1958 году, гласит: "Обвиняемый имеет право на защиту. Следователь, прокурор и суд обязаны обеспечить обвиняемому возможность защищаться установленными законом средствами и способами от предъявленного ему обвинения и обеспечить охрану... его личных прав". А как же еще может защищаться от обвинений (и противозаконных акций следствия) человек, находящийся под стражей и имеющий — по закону — возможность встретиться с адвокатом лишь по окончании следствия?

Столь же противозаконной была реакция прокурора на мою жалобу по этому поводу. Правда, я было подумал, что сам облегчил ему возможность такой реакции, поскольку жалоба была устной и нигде не зафиксирована. Но тут же я обнаружил в УПК ст. 214: "Жалобы могут быть письменные и устные, в последнем случае они записываются следователем, прокурором или

судьей в протокол, который подписывается жалобщиком".

Следствие закончилось. Жизнь приняла размеренный характер: в 7.00 подъем, зарядка, завтрак. Затем часа три-четыре я работал над возникшим вдруг "детективчиком", события которого происходят в конце 1944 года в Австрии (мне хотелось совместить в нем мое знакомство с этой страной и мой новый тюремный опыт. "Детективчик" так и остался неоконченным). Около 12 дня нас — поочередно и поодиночке, так чтобы никто из заключенных не увидел другого, — выводили на прогулку, каждого в один из пяти или шести секторов "колеса", закрепленных за следственным изолятором. Было тепло, я раздевался до трусов и целый час бегал, прыгал, делал гимнастику. После обеда (кормили по сравнению с лагерем просто хорошо, но я еще не был в состоянии оценить эту разницу), — после обеда я с полчаса отдыхал, потом либо читал философов, либо перечитывал Толстого, Достоевского, впервые одолел "Клима Самгина". На сон грядущий в качестве успокоительного я переключался на кодексы. Я все отчетливее понимал, как грубо нарушались следствием законы, и во мне крепла уверенность, что эти нарушения, став известными суду, приведут к оправдательному приговору. Несмотря на "снотворное" (кодексы), спал я плохо, кроме нервов мешала еще яркая лампа над дверью, светившая прямо в глаза, да еще надзиратель, каждые две-три минуты шуршавший металлической створкой "глазка": в круглом стеклышке всякий раз возникал неподвижный, точно в витрине оптического магазина, глаз бдительного стража.

В эти дни произошло событие, запомнившееся мне на всю жизнь.

Второй этаж следственного изолятора пустовал, лишь изредка в камеру надо мною заходил надзиратель — я слышал над собой его шаги, потом в фановой трубе шумела спускаемая вода. В этот период, действительно, сажали мало: заняты были лишь шесть камер первого этажа. Справа от меня сидел финн (я изредка

слышал его взволнованный голос, ломаные русские слова, поток финской речи). Слева был русский, очевидно очень напуганный, — на мои попытки заговорить с ним с помощью тюремной азбуки он не реагировал. Позднее я познакомился с ним: это был инвалид войны, майор морской пехоты Назаренко. Новая молоденькая жена усадила его за "антихрущевские высказывания", надеясь таким образом приобрести квартиру в Ленинграде и дачу в Рощино. В лагере я помог ему написать ряд жалоб, в результате коллегия ленгорсуда по гражданским делам признала его новый брак недействительным, т. к. Назаренко после контузии состоял на учете в психоневралогическом диспансере. По *этому* — гражданскому — делу суд признал его недееспособным. Однако попытки добиться пересмотра его "политического дела", опираясь на определение гражданской коллегии, не дали никаких результатов: вступал в брак в состоянии невменяемости, но Хрущева ругал вполне сознательно и, несомненно, в целях ослабления... В 1965 году, вскоре после падения Хрущева, его полностью реабилитировали.

И вот однажды я понял, что надо мною появился новый постоялец: он непрерывно ходил, быстрой, нервной и очень неровной походкой. У меня было восемь шагов туда, восемь — обратно. У него непрерывно сбивался темп: то десять, то восемь, то двенадцать. Затихал он лишь на время раздачи пищи и часа на два-три ночью.

Нервность его немедленно передалась мне. Я почти не спал, прислушивался к его шагам, пытался разгадать причины его состояния. На стук по водопроводной трубе он не отзывался.

На третий день, уже под утро — было, вероятно, часов пять — я проснулся от дикого крика. Так может кричать сумасшедший, человек, увидевший страшное привидение, раненый зверь. Надо мною топталось несколько пар ног. Крик затих, но какая-то возня продолжалась. Затем скрипнула открываемая дверь камеры, несколько пар ног загрохотали по железной

лестнице и затем, уже почти неслышно, прошелестели по бетонному полу мимо моей камеры — к двери, ведущей в полуподвал, через который нас водили на прокулку.

Естественно, что заснуть я уже не смог.

Около двенадцати выводной, как всегда, повел меня на прогулку. Это был старшина лет шестидесяти, почти всю жизнь проведший в тюрьме. В полуподвале, почти прямо под моей камерой, была загадочная дверь. Металлическая, похожая на металлические водонепроницаемые двери подводных лодок, с металлическим же запорным штурвалом, прикрытая в верхней части брезентовым чехлом, она вела в никуда и давно интересовала меня, как и мощный бронированный кабель, выведенный через стену и шедший под потолком к распределительному щиту. Что скрывалось за этой дверью? Спрашивать об этом надзирателей, дважды в день водивших меня мимо нее, было бессмысленно.

В этот день что-то переменилось в облике этой двери, переменилось почти неуловимо, но глаз арестанта, отмечающий малейшие изменения в окружающей его монотонной действительности, сразу уловил эту перемену: брезентовый чехол был чуть сдвинут, будто кто-то, сняв его, очень старался придать ему прежнее положение, но его вдруг отвлекли и он не довел до конца свое нехитрое дело. Изменилось и положение штурвала. Если он раньше был точно сориентирован по отвесу, то теперь его спицы сместились градусов на 9, может, на 11.

Почти всю прогулку — целый час! — раздумывал я над этими двумя событиями. Есть между ними связь или это случайное совпадение?

На обратном пути, уже пройдя мимо двери, я спросил шедшего впереди старшину:

— А что это за дверь?

Он оглянулся. Лукавый огонек сверкнул в его глазах.

— Которая?.. Эта?! Первый раз вижу.

Связь была! Старшина переиграл. Если бы он ответил, что там кладовая, вентиляционная установка,

карцер, морг, что угодно — я сразу бы поверил ему. Мой вопрос явно застал его врасплох. Что же там было? Электрический стул?.. Газовая камера?.. "Расстрельная" комната?..

Давно уже прошли времена, когда можно было, подобно бравому Швейку, попросить в последнюю минуту запломбировать зубы. Прошли и те времена, когда расстрел производился специально выделенной воинской командой с традиционным холостым патроном в одной из винтовок. Возможно, отживает уже и "исполнитель", в глухом коридоре стреляющий в затылок приговоренному. Мы живем в эпоху научно-технической революции, во все области жизни вторгается новая техника. Да, может, оно и гуманнее — включить человека в сеть с напряжением в тысячу вольт?.. Гуманнее для "включающего", но не "включаемого".

...Снова выводной, снова коридор второго этажа и — на этот раз — кабинет Рогова, окнами во двор, так что я вижу висячий переходной коридор в тюрьму и огромные окна главного тюремного корпуса.

За столом почему-то Шумилов и незнакомый мне майор в форме КГБ.

— Хочу вас порадовать, — говорит Шумилов. — Вы вот нас ругаете, а мы выпустили вашу книжку.

И он протягивает мне книжку, о которой, признаться, я и думать забыл: переизданную в "Библиотеке военных приключений" повесть "Если мы живы". Теплая, неожиданно радостная волна заливает грудь... Что там не говори, а все же приятно... Многострадальная повесть, набранная в "Звезде" в 1948 г., а затем рассыпанная и пролежавшая в столе восемь лет.

— Только что поступила к нам в киоск, — продолжает Шумилов. И усмехается: — Купил на память.

Как жалею я до сих пор, что не спросил тогда: "Собираете библиотеку писателей-клиентов? Хорошо бы с автографами!" Сколько писателей прошло с тех пор через руки "литературных критиков в штатском"! Но я поднимаю глаза и смотрю ему в лицо: — Так против кого это говорит? Против меня или против вас?

Улыбка на его лице исчезает.

— Против вас, Кирилл Владимирович. В старые времена ее не только не выпустили бы, но, глядишь, сожгли бы и все то, что вышло раньше. — И в голосе его звучит снисходительность: — Против вас.

— А по-моему, все же против вас. Вот я написал книжку, в аннотации которой сказано... — И я прочитал из аннотации на обороте титула: — "Тема военного подвига советского народа — наиболее близка автору". Вы же держите автора в тюрьме и собираетесь его учить объективным законам действительности.

Шумилов молча взял у меня книжку и направился к двери. У порога он остановился: — Майор поговорит с вами.

Майор оказался следователем по особо-важным делам из Москвы. Он раскрыл Уголовный кодекс и попросил меня прочесть статью 95-ю — об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

У меня отвалилась челюсть.

— Это еще зачем?

— Вы знакомы с Александром Гинзбургом?

— Но при чем тут Гинзбург?

— Что вам известно о его антисоветской деятельности?

Здрасьте, приехали... У нас больше нет политических преступников! И вообще уже давно никого не сажают...

Зимой 1959-60 года Алик (и сейчас, когда в калужской тюрьме он отметил свой сорок первый день рождения, все близко знающие его люди называют его Аликом; но это вовсе не говорит о его инфантильности, это свидетельство его удивительной сердечности и отзывчивости, свидетельство нежности, которую неизбежно вызывает к себе этот человек), Алик позвонил мне по чьей-то рекомендации. Он выпустил тогда первый номер своего "Синтаксиса" — крохотного машинописного журнальчика, посвященного московской молодой поэзии, и приехал в Ленинград собирать материалы для второго, "ленинградского", номера. За издание журнальчика он

и был арестован. Но стихи молодых поэтов в наше время — зыбкая почва для обвинения в "антисоветской деятельности". С ним расправились приблизительно так же, как несколькими годами позже с Иосифом Бродским, сослав его то ли в Архангельскую, то ли в Вологодскую область.

Прав был В. Ходасевич, еще в 1932 г. написавший:

> В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писателей... Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на что он поднимает руку, эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, венчающих "чело" русского писателя". (В. Ходасевич. *Литературные статьи и воспоминания.* Нью-Йорк, 1954, стр. 285.)

А ведь это было написано д о 1937-38, д о 1949-53 гг.! И этот в самом прямом значении слова убийственный литературный процесс продолжается и сегодня.

...Ничего интересного не смог я сообщить о Гинзбурге "майору по особо-важным делам" и, сопровождаемый конвойным, встретил в коридоре Кривошеина.

— Скоро я получу ваше обвинительное заключение?

— Не мое, а в а ш е, — съязвил он.

— Хорошо, но когда?

— Через несколько дней. Сейчас с делом знакомятся в обкоме.

— В о б к о м е?

— А что, собственно, вас удивляет? Конечно, в обкоме.

В своем служебном рвении Кривошеин даже не заметил, что походя раскрыл величайшую государственную тайну: статья 112 Конституции (соответственно статья 155 Конституции 1977 г.) и статья 9 "Основ законодательства о судоустройстве СССР, Союзных и Автономных республик" единодушно, слово в слово, повторяют: "...судьи и народные заседатели независимы

и подчиняются только закону". Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что следователь (который подчиняется не только закону, но и прямым указаниям надлежащего начальства), составив обвинительное заключение, направляет его вместе с делом на утверждение прокурору, который затем препровождает все материалы в суд. Никаких иных промежуточных инстанций и, в особенности, таких, которые могут оказать влияние на дальнейший ход дела и, соответственно, на приговор, закон (ЗАКОНОДАТЕЛЬ, как любят изъясняться наши юристы!) не предусматривает.

Случайная проговорка следователя вдруг сразу бросила свет на целый ряд мелких и незначительных, казалось бы, деталей и объединила их если не в систему, то, во всяком случае, в какую-то единую картину, объясняющую чрезвычайную нерешительность КГБ, по крайней мере, на начальном этапе моего "дела".

Начнем с обыска.

Как мне стало ясно в ходе следствия, слежка за мной и даже за моей женой продолжалась не менее трех лет, приблизительно столько же — прослушивание квартиры. Поводом к этому послужили мои выступления в Союзе писателей и откровенные, злые высказывания. Из разговоров, записаннных магнитофоном, следствие использовало, вероятно, далеко не все, ибо в противном случае судебное "дело" одного "отщепенца" превратилось бы в процесс нескольких ленинградских, да и московских литераторов и художников, что, с точки зрения властей, было бы весьма несвоевременным. Однако, поскольку эти литераторы и художники случайно сгруппировались около меня, да вдобавок при встречах у меня часто присутствовали американские аспиранты (ныне ставшие известными учеными), решено было осторожно "потрогать" меня одного. Несомненно, один или двое из посещавших меня молодых людей были завербованы — для получения дополнительной информации. Несомненно и то, что Львов по специальной инструкции попросил у меня второй раз хорошо знакомые ему

книжки и вернул их в точно установленное КГБ время, чтобы обеспечить гебистам минимальный улов. И столь же несомненно, что санкцию на обыск дал не только и не столько прокурор города, сколько те самые деятели из обкома, которые теперь знакомились с моим делом — то ли первый секретарь, то ли секретарь по пропаганде, то ли начальник отдела административных органов обкома, в ведении или под контролем которого находилось и КГБ.

Я не преувеличиваю свое значение. Я оцениваю обстановку: только что Хрущев, а вслед за ним Микоян публично заявили, что политических арестов у нас нет. А тут вдруг производят обыск, а потом и арестовывают — впервые после XX съезда! — писателя, пусть и не очень заметного, но зато скандального... И я в своем безмерном самомнении иду так далеко, что не исключаю возможности, что об этой государственной акции был поставлен в известность сам Хрущев.

Так или иначе, но почти наверняка Меньшаков явился ко мне с двумя ордерами в кармане: на обыск и арест. Первый он предъявил при своем появлении. Окажись коллекция дензнаков действующей иностранной валютой, найди Меньшаков припрятанный "Вальтер", он с торжествующей улыбкой извлек бы из кармана второй ордер.

Результаты обыска были жалкими. На следующий день гебисты совещались: "Что делать дальше? Что будет предпринимать этот скандалист? Не поднимет ли шум через приятелей американцев?" Но, видимо, к вечеру они получили обнадеживающие сообщения из Москвы, где Кривошеин, проведя обыск у Гансовского, читал теперь его дневники и нашу переписку.

Посему 13-го июня они предприняли следующий шаг: пригласили меня с женой к себе (можно ли назвать это НЕ приглашением, если они посылают за вами автомобиль и на автомобиле отвозят вас — или вашу жену — домой?). Они проводят нас без пропуска, как "своих", через служебный подъезд, поднимают нас в святая святых — к кабинету с а м о г о Шумилова,

который вдруг, по непонятным причинам, по каким-то неотложным делам, совершенно неожиданно уезжает. Проходит десять неловких и нелепых минут — выяснения, телефонные поиски: "Как быть? Что делать без начальства?" В конце концов Рогов принимает решение, и в его кабинете происходит первая беседа, крайне нерешительная, крайне неопределенная, ибо они еще не знают, будет ли у них достаточно материала, чтобы меня "взять", или им предстоит еще извиняться передо мной за "беспокойство", беседа, в ходе которой они скорее проговариваются сами, чем "вынимают" из меня необходимую им информацию.

Однако в Москве Кривошеин не теряет времени. Он допрашивает Гансовского, и тот, по несколько смягченному лагерному выражению, "колется до задницы". ("Пусть меня расстреляют первым!..") Затем Кривошеин вызывает полковника Шаповалова — и наблюдает столь же красочную картину. Есть у них в запасе и старый донос Алябина, и они срочно командируют человека к месту службы бравого генерала и получают целый ворох хоть и залежавшегося, но вполне пригодного материала.

И вот Кривошеин возвращается в Ленинград и демонстрирует начальству свои боевые трофеи. Братцы, да это же целое сокровище! По крайней мере трое, а с Шульгиной и четверо верных свидетелей обвинения, таких, которые заведомо не берут ходов обратно: Гансовский полностью скомпрометировал себя дневниками и письмами, его можно не только припугнуть, но — при надобности — и *при*садить, Шаповалов и Алябин дрожат за свои приближающиеся пенсионы, а о Шульгиной вообще нечего говорить — свой человек!

Вечером 18-го или 19-го решение, наконец, принято, ордер подписан. Рогов — или Шумилов через Рогова — вызывает меня к 11 часам и на всякий случай звонит в обком — доложить по начальству: "Будем брать!"

Но обкомовское начальство вдруг робеет: все-таки писатель!.. Все-таки теперь мы не арестовываем!.. Все-таки какие-то еще там американцы!.. И вообще,

что скажет княгина Марья Алексеевна? Марье Алексеевне звонят по телефону, и тут ко всеобщему удовлетворению выясняется, что княгиня вовсе не против. Даже совсем наоборот.

Кривошеин, довольный, направляется в свой кабинет, но тут вспоминает, что этот Успенский — или как его там! — скандалист. И вообще, люди, которым вдруг предъявляют ордер на арест, часто неуправляемы или, во всяком случае, непредсказуемы.

Срочно со своего обычного места передвигается к окну диван, на котором, приведя преступника, занимает боевую позицию старший оперуполномоченный Шорохов. Ему до чертиков скучно, но зато, сидя спиной к свету, он отчетливо видит и лицо, и, главное, руки будущего арестанта: ведь теперь при входе в КГБ не обыскивают и об оружии не спрашивают.

Дальше все идет как по маслу. Обвиняемый хотя и не колется, но признает "объективно антисоветскими" или "объективно враждебными" все большее и большее количество своих высказываний, все больше и больше подкидывают материала его друзья, и "состав преступления" вырисовывается все более отчетливо. Наконец обвинительное заключение написано, утверждено, отправлено в обком, и тут...

И тут начитавшийся кодексов обвиняемый предпринимает неожиданный, хотя и достаточно глупый ход. Он подает на имя начальника УКГБ заявление, в котором пишет, что он — советский писатель и в прошлом боевой офицер, всю войну проведший на фронте, где был контужен и дважды ранен, что два месяца одиночки и напряжения окончательно расстроили его нервную систему и что он просит изменить ему "меру пресечения", выпустив его до суда на свободу. При этом он дает честное слово, что обязуется все это время ни под каким предлогом не покидать свою квартиру и не будет ни сам, ни через других лиц ни устно, ни в письменной форме как-либо пытаться повлиять на свидетелей обвинения или защиты.

По форме заявление было сдержанным, но по

существу это был вопль вроде "Мама! Я больше не буду!" К счастью, полицейские мозги не проникли в подтекст и у них возникли другие соображения.

Через два дня после того, как я передал через надзирателя это заявление, меня вновь привели в кабинет Рогова. В центре я увидел Шумилова, рядом с ним сидел седовласый, фельдфебельского типа, полковник Лякин — первый заместитель Шумилова. (Позднее Юрий Герман расскажет мне, что, когда он, Герман, заговорил с Шумиловым в присутствии Лякина на какую-то щекотливую тему, Шумилов сделал каменное лицо, а затем, после ухода Лякина, сказал: "Да вы с ума сошли, Юрий Павлович! Разве можно говорить о таких вещах в присутствии этого стукача?.. Он ведь отца родного продаст!") Был еще в кабинете Рогов, как всегда, в форме. В стороне, возле окна, сидел некий субъект в отлично сшитом костюме, с лицом потомственного партийно-комсомольского работника. Его фамилия и должность остались мне неизвестными, но мне думается, что он имел какое-то отношение к отделу административных органов, в адрес которых было отправлено "для ознакомления" мое "дело". В продолжение всей "беседы", длившейся, вероятно, минут 20, он не проронил ни слова. Позднее он раз или два появлялся в зале суда, скромно усевшись в заднем ряду пустого или почти пустого зала. Впрочем, скромность эта не помешала ему войти в совещательную комнату в один из перерывов в заседаниях суда.

— Я прочитал ваше заявление, — сказал Шумилов. — Чем вы мотивируете вашу просьбу?

Вопрос был странным: мотивировка была изложена в самом заявлении. Тем не менее я повторил ее: нервы были у меня расшатаны еще до ареста и теперь я страдаю жестокой бессоницей, тем более сильной, что врач (если это был врач, а не фельдшер), которого по моей просьбе ко мне вызвали, "осматривал" меня через дверную форточку (так называемую "кормушку"), после чего мне дважды давали валерианку.

— Вы в тюрьме, а не в санатории, — вставил Лякин

фразу, которую, обращенную то ко мне, то к другим — действительно больным заключенным, мне часто приходилось слышать позднее.

— Я в тюрьме в порядке применения меры пресечения, — возразил я. — Я не осужден и не лишен прав. И в особенности права на медицинскую помощь.

— Сам факт вашего ареста говорит о вашей виновности. Вы прекрасно знаете, что аресты производятся лишь в исключительных и вполне оправданных случаях.

На это мне нечего было возразить: я знал по себе.

— Мы покажем вас врачу-специалисту, — сказал Шумилов.

Тем временем Рогов открыл сейф, достал какую-то папку и, хихикая, раскрыл ее перед Лякиным. Лякин посмотрел на меня в упор.

— Вот вы утверждаете, что вы лояльный советский гражданин и что давали следствию откровенные показания, ничего не скрывая. Между тем вы поддерживали тесные отношения с двумя американскими шпионами, арестованными органами КГБ, — Дереллом Хаммером и Эдвардом Киненом. Вы ни полслова не сказали о том, что они пытались вас завербовать.

Еще один сюрприз!.. Мне было известно, что и Хаммер и Кинен должны были уехать в конце июля и вернуться в Ленинград поздней осенью. Имена их ни разу не возникали в ходе следствия.

— Об их шпионской деятельности мне ничего не известно, и они меня не вербовали.

— Однако вы говорили с ними о том, что США представляется вам подлинно демократической страной и что вы при известных условиях готовы были бы переселиться туда.

— Нет, таких разговоров не было.

Лякин посмотрел на меня долгим, пронизывающим взглядом и захлопнул папку. Я вздохнул с облегчением.

Все же мы часто переоцениваем профессиональный уровень КГБ и степень его информированности. Разговор об Америке был у меня с другим американцем и

в совершенно ином ключе. Мало того, что гебисты неправильно записали его или провокационно изменили его смысл — они приписали его другим лицам.

Что касается "шпионов" Дерелла Хаммера и Эдварда Кинена, то летом 1961 года, уже в Мордовии, уполномоченные КГБ, приехавшие из Яваса, "столицы" Дубровлага, вновь пытались получить у меня показания, компрометирующие этих моих приятелей. Однако оба, проучившись в аспирантуре ЛГУ по два года, благополучно вернулись в США, а 12 лет спустя профессор Гарвардского университета Э. Кинен опубликовал исследование о переписке Иоанна Грозного с князем Курбским, вызвавшее целую серию весьма резких ответных статей в советской прессе и даже что-то вроде "контр-монографии" на эту тему.

Мне задали еще два-три вопроса, затем Кривошеин повел меня в свой кабинет. В коридоре, улыбаясь своей саркастической улыбкой, он сказал:

— Ну что ж, поздравляю: вы только что потеряли возможность выйти на волю.

Я разинул рот в самом прямом значении этого слова.

— Что вы этим хотите сказать? Я должен был подтвердить, что эти милые ребята — шпионы? Или предложить свои услуги в качестве информатора?

Кривошеин презрительно фыркнул:

— Кому нужен такой информатор?

... Через несколько дней я получил копию обвинительного заключения: в обкоме ознакомились с моим "делом" и дали "добро".

Забегая вперед, скажу, что позднее И. М. Отлягова сообщила мне, что рассмотрение моей кассационной жалобы в Верховном суде РСФСР тоже задержалось на несколько дней: на этот раз с "делом" знакомились в ЦК.

III

Часов в 8 утра 30 сентября выводной провел меня в помещение дежурного помощника начальника следственного изолятора, где меня "принял" конвой МВД. Как и при аресте, меня провели в соседнюю, без окон, комнатенку, один из конвойных приказал мне раздеться, присесть, нагнуться, раздвинуть, а другой тем временем тщательно изучал содержимое моих карманов, будто за два с лишним месяца одиночки, под непрерывным наблюдением, я мог смастерить ручную гранату или отпечатать пачку листовок.

— А это что?

— Обвинительное заключение и записи по делу.

— Не положено.

— Как это не положено? Вы же везете меня в суд!

Я заявил, что если у меня отберут бумаги — я никуда не поеду.

— Поедешь. — В его руках звякнули наручники.

На мое счастье в комнату вошел дежурный помощник и разъяснил сержанту, что я прав.

Во дворе стоял тюремный "воронок". Меня посадили в один из двух "стаканов" — отделение, похожее на вертикально поставленный гроб, снабженный дверцей с небольшими отверстиями для воздуха — как в ящике для пересылки фруктов. Против "стаканов" была расположена скамеечка для конвоиров, а дальше, за решеткой, "мешок" — отделение для арестантов, перевозимых "гуртом". "Мешок" был пуст.

Я опустился на планку, долженствующую изобразить сидение, дверца захлопнулась, и я сразу почувствовал и духоту и жару. Машина тронулась. Воронок ехал долго, делал массу поворотов, и я совершенно потерял ориентировку. Наконец, машина остановилась, конвоиры, сидевшие напротив боксов, вышли, и я услышал голоса:

— Скоро?

— А куда тебе спешить?

— Нам некогда. Контрик у нас тут. Ему к девяти.

— Перебьется: весь срок впереди.

— А ваши-то где?

— Сейчас приведут. Шмонают еще.

— Сколько их?

— А хрен их знает. Уж три недели этих спéкулей возим, каждый день по разному.

В стакане было уже нестерпимо жарко. Ноги, руки, поясница затекли. Я постучал в дверь.

— Чего тебе?

— Дышать нечем. Откройте дверь хоть на минуту.

— Перебьешься, — ответил тот же голос, но задвижка щелкнула, и дверца открылась: на скамеечке с автоматом в руках сидел конвойный, совсем юный парнишка. Справа, сквозь открытую дверь кузова, виднелась кирпичная стена с решетками на окнах.

— Где это мы?

— В "Крестах". Сейчас еще партию загрузят. Торгаши...

В самом деле, во дворе послышались шаги, моя дверца захлопнулась, старшой скомандовал: "По одному! Жи-ива!" Мы снова двинулись, опять колесили непонятно, опять остановились, уже в каком-то дворе, так что дверца кузова пришлась вплотную к низкой двери, ведущей в полуподвал. Меня вывели первым, мы миновали открытую дверь караульного помещения, где сидело несколько солдат, за ними виднелась пирамида с автоматами, и ввели в приземистый длинный коридор, по обе стороны которого были расположены небольшие отсеки, отделенные от коридора прочными решетками, как в зоопарке. Меня ввели в одну из клеток, но тут же перед нею появился старший лейтенант МВД, мельком взглянул на меня и скомандовал:

— Иванов, Петров, Семенов, Бойко, выходи!.. Заряжай!

Клацнули магазины автоматов, щелкнул замок клетки, и мы — офицер с извлеченным из кобуры пистолетом, двое солдат по бокам, двое сзади, — вышли

на крутую черную лестницу, поднялись на третий этаж, затем через какой-то переход на общую лестницу — на скамьях в коридоре я вижу знакомые лица. "Не падхадить!.. Нна-аза-ад!.." — и мы входим в пустой зал. Меня вводят за барьер, где стоят скамьи, рассчитанные по крайней мере на два десятка подсудимых.

Мне бы собраться, мне бы ясную голову, но все кругом как в тумане. Появляется Отлягова, появляются свидетели, слева от меня, у кафельной печи, поближе ко мне устраивается Годлевский, приветливо улыбается мне и сочувственно спрашивает, как я себя чувствую. И у меня нет сил послать его к черту.

Над боковой дверью зажигается лампочка, над нею же брякает звонок — они заменяют коменданта суда. Появляется суд. Председатель ленгорсуда (ныне прокурор города) С. Е. Соловьев открывает заседание и знакомит меня с моими правами: "Вы можете дать отвод любому члену суда, если находитесь с кем-либо из них в родственных или иных неприязненных отношениях".

С этой мажорной ноты начинается суд — не очень скорый (он продлится ПЯТЬ дней!), но, несомненно, правый: моя, поддержанная адвокатом, просьба вызвать экспертов, назвавших отобранные у меня незаконченные литературные работы антисоветскими, и двух-трех дополнительных свидетелей была тут же отклонена без всяких мотивировок. Я попросил дополнительно вызвать трех видных писателей, которые могли бы дать характеристику моей творческой работы: Ю. П. Германа, В. Ф. Панову и А. И. Пантелеева. Суд отклонил и это ходатайство.

Дальше все пошло по хорошо накатанной дорожке: за небольшим исключением все свидетели повторили то, что говорили на предварительном следствии. Никаких сенсаций или драматических событий не происходило. Разве что Гансовский упорно избегал смотреть в мою сторону, а позднее, отвечая на мои контр-вопросы, пытался даже острить:

— Говоря о моих связях с американцами, может

быть, Гансовский сообщит суду об их взглядах? В частности о взглядах Б. Р.?

Б. Р. — ныне профессор — был серьезным литературоведом, глубоко занимался изучением эстетических проблем марксизма.

— Какие у него взгляды?.. — отозвался Гансовский. — Выпить и закусить.

Я взорвался. Ответ Гансовского звучал прямым издевательством, и я дал понять, что у меня есть резервы, которые могут поставить его в еще более неловкое положение, чем то, которое он сам избрал для себя:

— Не может ли Гансовский вспомнить недавний, прошлой осенью, разговор в Москве в присутствии А. В., когда мы обсуждали итоги XX съезда и характерные особенности некоторых руководящих деятелей партии?

Гансовский смешался, покраснел и едва слышно промямлил, что такого разговора не помнит. Я легко мог бы обличить его во лжи, но поскольку намек был понят, не стал делать этого.

Свои показания я начал скверно, заявив, что признаю объективную вредность многих моих высказываний, следовательно, частично признаю свою вину, но отнюдь не в формулировке обвинения. У меня не было и не могло быть (во всяком случае В ТО ВРЕМЯ!) "умысла" и "стремления" к "ослаблению советской власти". Если бы у меня был такой умысел, т. е. антисоветский, контрреволюционный замысел, то я, несомненно, стремился бы к максимальному сокрытию этой своей деятельности, к уходу в подполье. Между тем, я, полагая, что решения XX съезда знаменуют собой возврат к ленинским нормам демократии, открыто, не только у себя дома, но и на собраниях в Союзе писателей говорил о тех недостатках, которые мешают нормальному развитию нашего общества и, в первую очередь, литературы и общественных наук. Я по образованию и некоторому опыту разведчик и хорошо осведомлен о методах и технике работы контрразведки. Я знал, что моя почта перлюстрируется, телефонные разговоры

прослушиваются, более того — из полученного мною анонимного письма я знал, что в моей квартире установлены приборы прослушивания, которые...

Именно тут, при упоминании приборов, произошло некоторое волнение:

— Какие приборы? — воскликнул судья.

— Что за прослушивание? — прогремел прокурор.

— О чем вы говорите? — хватаясь за голову, закричала адвокатесса.

— Я говорю лишь о письме, которое я получил. Я не знаю, кто и с какой целью его написал.

— В обвинительном заключении, — продолжал я, — со ссылкой на свидетеля Павловского говорится, что "в Союзе писателей в с е знали об антисоветских настроениях Успенского", но подобного утверждения нет даже в тенденциозной, однобокой характеристике, присланной из этого самого Союза. Все обвинительное заключение говорит о тенденциозности следствия, которое систематически нарушало мои права на защиту, отвергая все показания, говорящие в мою пользу.

Но что, собственно, антисоветского было в основных моих высказываниях? О необходимости большей свободы в литературе? Но об этом говорил Ленин в статье "О партийной литературе", об этом говорил даже Сталин в знаменитом письме Билль-Белоцерковскому. Об этом постоянно говорил Горький и даже Алексей Толстой с Михаилом Шолоховым. Решающим фактором в творчестве всякого писателя, в том числе и советского, является его совесть, его ВИДЕНИЕ, его даже не право — его прямая обязанность говорить правду. Объективной истины в искусстве не существует, ибо действительность не просто отражается в сознании писателя, но перерабатывается в нем в соответствии с его мировоззрением, темпераментом, склонностями.

Я говорил еще о колхозах, о естественном праве выхода из них, о необходимости свободного ценообразования, о рабочих советах на заводах и предприятиях. Почему бы не поставить подобный эксперимент на одном или двух заводах, почему бы не проверить у нас

опыт Югославии, которая, как заявил недавно Хрущев, является вполне социалистической страной. И я говорил о двухпартийной системе. Ведь существовала же она — уже при советской власти, ликвидированная лишь в годы и на время гражданской войны! Но и то — вплоть до 1922 года — входили меньшевики в городские и районные советы, были членами совета даже в Москве! Существует же она, многопартийная система, в таких странах, как Польша, Венгрия, ГДР!

В ходе пятидневного судебного разбирательства председательствующий Соловьев вел процесс очень мягко, корректно, ни единого раза — кроме эпизода с прослушиванием — не прервал меня, спокойными, внимательными глазами поглядывая то на меня, то на дающего показания свидетеля, изредка улыбался чему-то, чуть иронично. Он даже понравился мне, несмотря на его первоначальный "ляп" относительно "неприязненных отношений". Мне подумалось даже, что он лучше, чем кто-либо в зале, понимает меня и, может быть, даже сочувствует мне.

Потом заместитель прокурора города Горбенко произнес громовую речь. Он досконально разоблачил меня, с научной точностью доказал мои многолетние антисоветские убеждения, восходящие чуть ли не к довоенным временам. В какой-то момент он патетически воскликнул: "Где был бы подсудимый, чем бы он занимался, умел бы он хотя бы расписаться, если бы не наша советская власть, которая дала ему образование, сделала его писателем, наградила орденами и медалями?" Он оценил мою преступную деятельность в семь лет лишения свободы.

Отлягова произнесла отличную речь, хотя и умолчала о целом ряде обстоятельств, которые должна была бы упомянуть, и попросила суд выбрать меру наказания, не связанную с лишением свободы. Ей даже аплодировали.

Что-то совсем коротко и нечленораздельно сказал я в своем последнем слове. Нервное напряжение к

этому времени достигло такого уровня, что я просто не помню своих слов.

Суд удалился на совещание, и прежде чем меня увели в подвальную клетку, я вдруг увидел, как тот самый "партейно-комсомольский" штатский, что сидел в кабинете Рогова при моей последней беседе с Шумиловым, спокойно, как к себе домой, вошел в судейское святилище.

Надо сказать, что солдаты конвоя — хотя каждый день это были новые люди, — уже после первого дня резко изменили отношение ко мне. Мне приносили передачи, сигареты, записки, всячески проявляли сочувствие, поодиночке, когда поблизости не было соглядатаев, задавали множество вопросов. По пути в суд и из суда они уже не закрывали дверцу "стакана", и я жадно вглядывался в городскую суетливую жизнь, с неожиданной и болезненной остротой упивался красотой Ленинграда.

Наконец 3-го октября, часов около семи вечера, приговор был сформулирован. Лестницами, коридорами, переходами меня провели в новый, какой-то очень парадный зал на первом этаже: мраморный камин, мраморные колонны. Может быть, здесь когда-то был кабинет шефа корпуса жандармов? Сквозь большие зеркальные окна виднелся Инженерный замок, багровела листва кленов.

Снова звонок, снова вспыхивает лампочка над дверью. Появляется суд. Соловьев, держа листы бумаги — приговор, — посмотрел в мою сторону: те же умные, чуть иронические глаза. Я еще не знал в этот момент (хотя мог бы уже и знать), что его спокойствие, его ирония в ходе всего процесса были однозначны: "Что вы там суетитесь, братцы? Зачем болтаете весь этот вздор? Ведь все давно уже решено. И даже не мною..."

— Именем Российской советской федеративной...

Он вдруг останавливается и смотрит на входную дверь: бесшумно, чуть пригнувшись, будто в них вот-вот

кто-то выстрелит, в зал прокрадываются Иосиф Бродский и Анатолий Найман.

— Вам что здесь нужно? — так же спокойно, как и все, что он говорил до сих пор, спрашивает Соловьев. — Вас вызывали?

— Нет, но мы... — начинает Бродский.

— Выйдите отсюда.

Главный судья города, к сожалению, не знал (или забыл?) статью 21-ю Уголовно-процессуального кодекса: "При слушании дела при закрытых дверях приговор, во всяком случае, провозглашается публично". Так же точно он не знал (или забыл) многие другие статьи законов, которыми должен был руководствоваться. Знает ли он их сейчас, став прокурором города?

— Именем Российской советской федеративной социалисти...

...Из блаженной, успокоительной темноты я прихожу в себя: я лежу на полу между скамеек, один из конвойных тычет мне в нос пузырек с нашатырным спиртом (какая гуманность! какая предусмотрительность!). Я потерял сознание. Хлипкий интеллигентик, по выражению великого вождя...

Мне чрезвычайно обидно и еще более стыдно, тем более, что я еще даже не знаю, что они там решили. А вдруг...

— Именем Российской советской... — в третий раз начинает Соловьев, и я, вцепившись в барьер, стараясь выглядеть как можно спокойней, внимательно слушаю: нет, дружок (твое любимое обращение, милый Г. С.! Как в то время, когда мы обсуждали мою "тактику", так и позднее, когда размышляли о том, как начинать жизнь заново...). Нет, преамбула не сулит ничего хорошего.

— ...лишить свободы на пять лет.

В зале слышится странный шум. Нет, не ропот возмущения, не возгласы одобрения, а такой, будто кто-то сразу сдвинул с места три или четыре стула. Позднее я узнал, что это Павловский упал в обморок. Но на сей

раз Соловьев не останавливается и продолжает тем же ровным голосом:

— Срок наказания исчислять с...

— Здорово вам припаяли, — говорит мне один из солдатиков, сидящий напротив меня на скамеечке воронка, когда меня везут ''домой''.

— Три года служу, сколько их прошло, жулья всякого, но такое! — вторит ему другой.

— Ведь за это сейчас не сажают, — качает головой первый.

Конечно, не сажают! Сколько еще раз услышу я эту формулу — на этапах от конвойных солдат и офицеров, на пресненской пересылке, в печально знаменитой Потьме и даже в Барашево, на 3-м лагпункте, пятидесятилетний капитан, тридцать лет прослуживший в лагерях, видевший все, что можно было увидеть в эти годы, разведет руками:

— Ну, студентов там или пьянчужку, что сболтнет неположенное, а вас...

На дворе стоял декабрь, а по всей огромной стране доцветала короткая хрущевская весна: я был первым членом Союза писателей, осужденным по политическим мотивам после XX съезда КПСС.

Через месяц после суда, когда меня повезут на Московский вокзал к ''столыпину'', двое уже других солдатиков расскажут мне, что о моем ''деле'' говорит весь конвойный полк.

— Говорят даже, что вы у нас в полку выступали. Правда? — спросит один из них.

Правда. Месяцев за восемь до ареста, в конце 1959-го года, дали мне в Бюро пропаганды путевку на шефское выступление в конвойном полку МВД. Помещался он (как и сейчас) рядом с Эрмитажем в бывшем здании лейб-гвардии Преображенского полка. Я читал что-то из военных вещей, рассказывал о войне, отвечал на вопросы и, разглядывая юные солдатские лица, думал о том, какая тяжелая, какая неблагодарная и развращающая досталась им служба.

Ленинградский конвой далеко не худший и выгодно отличается от знаменитого, ставшего легендарным, вологодского: "Шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх считаются за побег. Стреляю без предупреждения".

Полтора месяца ехал я из Ленинграда до станции Барашево, которая, как и вся ветка от станции Потьма, не обозначена ни на картах, ни в железнодорных справочниках. Об этом пути, как и о лагере как-нибудь в другой раз. Лишь самое последнее...

На 3-м лагпункте, в лагерной больничке, куда в роли "обслуги" я был определен неведомым мне начальством, "приняла" меня временно замещавшая начальницу больницы терапевт Марья Ивановна (фамилию ее я, увы, запамятовал). Полная, пожилая женщина, она встретила меня благосклонно и жизнерадостно:

— Успенский?.. Писатель?.. Как же, как же, отлично помню: "Четверть лошади", "Растеряева улица"... Очень, очень интересно... Но вы знаете, вам ведь очень повезло. Говорят, когда Толстой писал "Анну Каренину", он провожал этап арестантов от Бутырской тюрьмы до самого Казанского вокзала... А вы — эвон куда вы забрались!

Что ни говори, приятно вдруг встретить эрудированную даму!

Но мне повезло больше, чем предполагала простодушная Марья Ивановна: на следующий день начальница больницы определила меня санитаром в 10-й корпус. В этот же день под руководством заключенного, бывшего ленинградского студента-медика Ивана Кулябко, я принялся создавать материальные ценности и познавать вплотную объективные законы действительности: Кулябко вскрывал труп умершего накануне заключенного. "Десятым корпусом" назывался здесь морг, а Кулябко исполнял обязанности патологоанатома.

Мне повезло больше, чем даже предполагал полковник Шумилов: на этапах и пересылках я заполнил два пухлых блокнота "блатной музыкой". Тогда я еще не знал, что этими блокнотами начнется моя многолетняя работа над "Словарем русской ненормативной лексики".

Я не жалею о годах, проведенных в лагере. Они обогатили меня новым, бесценным опытом, наполнили жизнь новым содержанием. Я признателен за это Судьбе.

Декабрь 1977 г.

Ленинград

КОМИТЕТ 05

Из фронтовых воспоминаний*

В ту пору я был начальником штаба полка. Мы вели бои за Вену, и в самом разгаре боев, 12 апреля 1945 года, у меня потерялся батальон. Как назло, именно в этот момент командир дивизии, на основании приказа командира корпуса, изменил нам направление: мы должны были свернуть на Запад и выйти в районе Пратера на берег Дуная. Мы вызываем командира пропавшего батальона по радио, он дает свои координаты по карте, но посыльные один за другим возвращаются: не нашли. Впрочем, ничего особо удивительного в этом не было: командир батальона, капитан Мурадян, известный в полку под кличкой "Угробян", славился фантастической безграмотностью. Однажды, двигаясь в головном отряде, он развернул батальон тылом к противнику и обстрелял приближавшиеся главные силы полка. Нечто подобное происходило и сейчас: Мурадян, которому надлежало выйти на левый фланг полка, был неуловим. Командир дивизии уже пригрозил мне отстранением от должности, и я отправился искать его сам, чтобы лично передать приказ.

И вот на углу Кертнерштрассе навстречу мне вылетел, пригнувшись, солдатик. По тому, как он мне козырнул, я понял, что он из моего полка. Я его остановил, спросил, где второй батальон. Он говорит: "Да тут, за углом, первые ворота".

---

* Впервые напечатано в журнале "Обозрение" № 14, 1985 г.

Весьма ускоренным шагом я направился туда: с Кертнерштрассе вели огонь немецкие пулеметы. Когда я оказался в этих воротах, передо мной открылась следующая картина: спиной ко мне в конце проема стоит старший лейтенант Халимоненко, командир второй роты автоматчиков, и пытается выбить патрон, застрявший в его "ТТ". А перед ним, у стенки флигеля, стоят 6 мужчин и женщина, и на земле, в луже крови, лежит человек.

— Что тут происходит? — спросил я. — Кто эти люди?

Халимоненко отвечает:

— Да вот, товарищ подполковник, эти самые кровососы проклятые, вервольфы.

Я поглядел на стоящих: бледные, как известь, все в гражданском, все пожилые. Ничуть не похожи на вервольфов...

— Почему вы считаете, что это вервольфы?

— Да вот, оружие отобрали, — и он показывает мне лежащие на земле дамские пистолеты: один — "бульдог", другой — типа итальянской "беретты". Словом, ничего общего с грозными, вооруженными до зубов вервольфами — "оборотнями", по поводу которых шумела тогда наша пропаганда.

Халимоненко, меж тем, продолжал:

— А когда мы входили в этот двор, они бросились на нас.

Бросились? С этими детскими хлопушками?

— Кто вы такие? — обратился я на своем, весьма несовершенном, немецком к людям у стены. — Как вы здесь оказались?

Услышав немецкую речь, хоть и искаженную, все семеро в один голос заговорили.

— Тихо, — крикнул я. — Говорите вы, — обратился я к ближайшему от меня солидному седобородому человеку в очках.

И он, запинаясь, начал мне объяснять, что они члены Центрального совета движения 05, то есть движения сопротивления немецкому фашизму, что они заседали,

выясняя, как помочь советской армии, что в последнее время у них произошли провалы, массовые аресты...

— Хорошо, а вы кто такой? Как ваше имя?

Он достал из кармана сложенную вчетверо бумажку. В ней говорилось, что доктор Карл Реннер[1] является членом Центрального комитета сопротивления фашизму 05.

Это имя вызвало у меня ассоциации с австрийским марксизмом, с Адлером, Каутским. Не зря я столько лет зубрил марксизм, эту лженауку: имя Карла Реннера, неоднократно поминавшееся в гневных филлиппиках Ленина насчет "социал-предателей" и "социал-шовинистов", без труда вставилось в эту обойму.

— И эти люди тоже?.. — я кивнул в сторону остальных.

— Да, мы все члены Центрального комитета. У нас было заседание... — И он представил мне остальных: здесь были социал-демократы, коммунисты, члены каких-то аграрных союзов и христианско-демократической партии. Разбираться мне с ними было некогда, и я отправил их в сопровождении ординарца в их квартиру, а сам занялся с Мурадяном.

Пока я ставил ему задачу, пока проверял, правильно ли он проложил по карте маршрут, прошло, вероятно, не меньше часа. Затем я поднялся в квартиру, где ждали меня австрийцы. Из разговора с ними мне удалось реконструировать картину происшедшего. За месяц-полтора до начала боев за Вену австрийское движение сопротивления, до того слабое и раздробленное, сумело создать разветвленную организацию в немецких войсках, расположенных на территории Австрии, и стало готовить восстание, чтобы помочь советским войскам из осажденного города и предотвратить его разрушение и лишние жертвы. Однако к тому моменту, когда 3-й Украинский фронт начал бои на ближайших подступах к Вене, гестапо арестовало главных руководителей восстания, и несколько человек были казнены. Накануне событий, о которых я рассказываю, Центральный комитет сопротивления собрался на квартире одного

из его членов (им оказался представитель компартии Австрии Фридль Фюрнберг[2] : в отсутствие Копленига[3] — тот отсиживался всю войну в Москве — он был генеральным секретарем ЦК компартии). Не знаю, сколько времени продолжалось это заседание, но утром 12 апреля в комнату вбежала горничная с криком: "Русские здесь, посмотрите во двор".

Все бросились к окну и увидели снующих внизу красноармейцев. Не думая, не размышляя, охваченные желанием побыстрее обнять долгожданных освободителей, участники заседания немедленно бросились вниз и выбежали во двор.

Можно понять и тех солдат, в объятия которых они попали: все жители Вены, спасаясь от бомб и снарядов, попрятались в глубокие бункеры и выходили лишь тогда, когда смолкал шум ближнего боя. А тут — неведомо откуда появляется группа немцев (для солдат австрийцы, конечно же, были немцами), что-то кричат, машут руками...

Я поверил в искренность рассказанного и достоверность показанных бумажек. Но начальник штаба полка — фигура слишком мелкая, чтобы принимать ответственные решения такого масштаба. Поэтому как только к батальону подтянули проводную связь, я доложил обо всем случившемся командиру дивизии. И через полчаса приехал начальник политотдела дивизии, полковник Черенков, — один из редких случаев, когда политработником был по-настоящему умный и порядочный человек. Он приехал с дивизионным переводчиком Долинским, который позднее стал профессором Московского университета. Все данные как-то очень быстро подтвердились, и позднее, уже в ходе боя, я увидел, как подошли четыре "виллиса" и австрийцев увезли — сначала в штаб армии, затем в штаб фронта, к Желтову. Это было 12 апреля, а 22 апреля "Правда", "Известия" и, по-видимому, вся мировая пресса объявили о формировании австрийского временного правительства, канцлером которого стал Карл Реннер. Вошли в состав правительства еще двое из тех бедолаг, что стояли тогда

у стены, перед старшим лейтенантом Халимоненко.

В тот же день, а может, 13 апреля, бои за Вену закончились, и мы получили сообщение, что нашей дивизии предоставляется трехдневный отдых в Вене. Надо было пройти пешком через степи, болота, форсировать реки, горные перевалы, пройти тысячи километров с боем, с потом, с кровью, с голодом, чтобы получить три дня отдыха не где-нибудь, а в огромном городе, в роскошной Вене. Все были в восторге, я тоже. По всему городу грабили магазины и квартиры, насиловали женщин. Какие-то шутники разожгли костер в здании Музея истории культуры — ночи стояли еще холодные. К счастью, картины были куда-то убраны. Позднее, года через полтора, уже живя в Вене и пользуясь Дворцовой библиотекой, проходя ее подземными переходами, я часто удивлялся, как это не устроили костра из книжек, инкунабул, библии Гутенберга или еще чего-нибудь в этом роде...

Ход мыслей солдат был элементарно прост: едва мы пересекли границы Румынии, Верховное командование отдало приказ, разрешающий солдатам и офицерам отправлять домой посылки с трофеями. И вот трофеями становилось все, что могло влезть в посылку. Я видел разграбленные магазины, выносимые из квартир чемоданы и мешки, картины и скульптуры. В тот день я впервые испытал ощущение, позднее так точно определенное Солженицыным: "Стыдно быть советским".

Под вечер полковник Черенков сообщил мне, что моих "крестников" отправили к генерал-майору Шепилову, члену Военного совета 4-й гвардейской армии (тому самому Шепилову, который почти полтора десятилетия спустя вместе с Молотовым и Кагановичем будет изгнан Хрущевым из ЦК).

— Ну, брат, — сказал мне на прощание Черенков, — выудили мы с тобой крупную рыбку, ждут нас большие ордена.

А еще через полтора часа в штаб полка поступил приказ: немедленно сниматься и выступать вниз по Дунаю. Ну что ж, собираться — так собираться...

И вот уже полк выстроен, уже снята вся связь с батальоном, уже последняя ниточка от меня тянется к дивизии, и вдруг — дежурный телефонист: "Товарищ подполковник, вас третий вызывает".

"Третий" было кодовым позывным полковника Черенкова.

Я не рискую цитировать, что он мне говорил: в течение нескольких минут это был сплошной поток изощренной матерщины. Всякий раз, когда я пытался его спросить: "Третий, да в чем же дело?", — я генерировал этим новый поток густой насыщенной брани. Наконец, стали прорываться отдельные осмысленные слова: "часовой... где часовой?.. квартира..." Затем выкристализовалась основная мысль: почему я не поставил часового на той квартире, где собирался этот Центральный комитет? Там оставались две женщины. Но как я мог оставить там часового? Приказ командира дивизии, командира корпуса: все боеспособные люди на линии огня, ни одного в тылу, ни одного лишнего человека. Я и ушел со своими солдатами. А в это время продвинулись тылы какой-то новой части, солдатики побежали за боевыми трофеями по всем квартирам, и среди боевых трофеев обнаружили двух молодых привлекательных женщин. Что там было, я не знаю, но, видимо, что-то ужасное, потому что Фюрнберг донес об этом в штаб дивизии, и Малиновский, командующий фронтом, отдал приказ найти гада, который это сделал, а тех, кто не поставил часового, наказать. То есть, вместо обещанных орденов, нам с Черенковым светило теперь наказание. Но потом это дело как-то забылось, и все обошлось.

Я вполне понимал, что этот эпизод не нашел отражения в советской истории войны и венского периода. Кстати, во вступительной статье к сборнику "Погибли за Австрию", изданному "Прогрессом" в 1974 году, утверждается, что комитет 05 был глубоко законспирированной, буржуазно-католической организацией. Но попав через тридцать три года в Вену — уже в качестве эмигранта, — я был уверен, что найду что-нибудь

в работах австрийских историков. По советской официальной версии и по признанной австрийской, Карл Реннер вышел на свидание с советскими войсками и впервые встретился с ними не 12 апреля, а 2-го, и не в Вене, а где-то в южных районах Каринтии, встретился с какой-то другой, неизвестной мне дивизией, вел переговоры с представителями советского командования в Бадене, в своей квартире, и приехал в Вену уже после объявления его канцлером австрийского правительства.

Когда я разговаривал на эту тему с австрийскими историками, они утверждали, что всего, о чем здесь рассказано, не было и быть не могло. Они ссылались на даты — 2 апреля, а не 12. Затем они говорили, что сразу после аншлюсса Реннер признал гитлеровцев, сотрудничал с ними, хотя и пассивно, никаким репрессиям со стороны немцев не подвергался, и более того, он был таким трусом, что никогда бы не рискнул вступить в этот центральный комитет 05. Но я видел его и разговаривал с ним, видел его документы, никаких сомнений они не вызвали ни у меня, ни в штабе дивизии, а затем в штабе армии и фронта. Позднее я видел его фотографии в газетах, особенно часто они публиковались после первых выборов в парламент в ноябре 1945 года. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что в данном случае я прав, а они — неправы.

Я пытался докопаться до сути, связаться с возможными свидетелями, с семьей Реннера, с его бывшими секретарями. Мне много помогла в этом дочка Копленига — она переводчица с русского, переводила Солженицына. Она попыталась связать меня с сыном и дочерью Фюрнберга, но из этого ничего не вышло: они не хотели встречаться с эмигрантом, поскольку были истовыми коммунистами. И в конце концов, анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что, очевидно, этот восьмой член Комитета, убитый моими солдатами, был какой-то значительной фигурой: может, австриец, принадлежавший к одной из этих партий, может, союзник — американец или англичанин, и сообщить о том, что его убили советские солдаты уже фактически после

освобождения Вены, было крайне неловко. Видимо, лицам, которые вели переговоры с советской стороной, порекомендовали не упоминать об этой смерти. В то время Вена уже была наводнена чекистами, смершевцами, их присутствие ощущалось в течение многих лет, и постепенно эта легенда так и прижилась.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА: В арихиве Кирилла Косцинского (псевдоним К. В. Успенского) мы обнаружили письмо, полученное им от фронтового товарища накануне эмиграции и имеющее непосредственное отношение к описанным здесь событиям. Позволим себе привести отрывок из него, сохраняя орфографию подлинника:

> ...Будешь в Вене, передай ей привет от меня. Если будите иметь свободное время в г. Вена, зайдите в венский театр. Мы ведь вели бой за него. Вы безусловно помните, как тов. Фриц накрыл нас артогнем, только провода трамвайные посыпались, а мы вбежали в дом против театра. Когда артобстрел прекратился, мы вышли во двор. Наши солдаты вышебли из руки Ренера пистолет, с ним было еще два человека. Когда Вы с ними заговорили они кинулись к вам. Если бы Вы не появились, я не знаю, что было бы с этим Ренером. Вобщем Вы позвонили в штадив, а они дальше и к нам в скором времени прибыл Член военного совета генерал Шипилов и увез их в штаб армии, а впоследствии этот Ренер оказался президентом Австрии.
>
> В конечном итоге он был на стороне американцев. Я потом думал, вот нелегкая вынесла этого Успенского и не дал солдатам поговорить с ним на солдатском языке.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Карл Реннер (1870–1950) – один из лидеров австрийской социал-демократии. В 1945 г. глава Временного правительства, с декабря 1945 по 1950 гг. – президент Австрийской республики.

2. Фридль Фюрнберг (1902–1978) – деятель австрийского и международного рабочего движения, работник Коминтерна. В 1972 г. награжден орденом Октябрьской революции.

3. Иоганн Коплениг (1891–1968) в 1924–1945 гг. – генеральный секретарь ЦК австрийской компартии.

ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ И ДРУГИЕ*

Если бы в мае 1946 года на углу Невского и Садовой не обрушился кусок карниза Публичной библиотеки и не убил бы проходившую мимо женщину, да еще не окажись эта женщина женой достаточно заметного партийного деятеля, я вряд ли имел бы возможность написать этот рассказ, который, собственно, и не рассказ, но описание совершенно конкретной и в известном смысле трагической истории.

Так что договоримся сразу словами одного алкаша, оказавшегося однажды моим соседом по автобусу: ”Это не факт, а случай из действительной жизни”.

А может быть, этот увесистый кусок штукатурки, которого, впрочем, я никогда не видел, так как в это время все еще служил в оккупационных войсках и, так сказать, ”оказался на месте преступления” только через год, — может быть, этот кусок карниза лишь ускорил развитие событий, подтвердив лишний раз известное марксистское положение о роли личности (и, конечно, случайности) в нашей весьма грустной истории.

Узнал я об эпизоде с карнизом ”опосредствованно”, проработав несколько месяцев в ленинградской Публичной библиотеке на разборке так называемых ”трофейных фондов”. И тут мы опять вступаем в область случайного.

Хотя книги всегда занимали значительное, если не решающее место в моей жизни, перспектива стать библиотечным работником никогда не привлекала меня.

---

*Впервые напечатано в журнале ”Континент” № 21, 1979.

За свою жизнь — даже если мы ограничимся тем временем, когда произошли описываемые события, то есть к моменту, когда мне едва перевалило за тридцать, — я переменил множество профессий. Однако бóльшую часть сознательной жизни я прослужил в армии, и вот, демобилизовавшись, после ряда неудачных попыток найти работу, которая меня бы устроила, я капитулировал и по направлению военкомата оказался в кабинете заместителя директора Публички по хозяйственным вопросам.

Тут вот и возникла первая случайность в этой цепи случайностей. В бумажке, принесенной мною из военкомата, значилось, что подполковник запаса такой-то направляется для переговоров на предмет занятия должности заместителя пожарной охраны. Я решительно ничего не знал об этой сложной профессии, кроме известной всем истины: пожары, когда они возникают, надо тушить. Однако, опираясь на свой фронтовой опыт, где, правда, мне время от времени приходилось *устраивать* пожары, но никак не тушить их, я надеялся, что как-нибудь справлюсь с пожаром, если он возникнет, а еще больше — что он не возникнет вообще.

Итак, в тот момент, когда я вошел к заместителю директора, оказалось, что в его кабинете сидит и другой заместитель — уже по научной части. В ходе возникшего разговора как-то выяснилось, что я знаю языки — английский, немецкий, чешский и — в меньшей степени — французский и итальянский (с последними двумя я сильно приврал, но, признаться, не очень стыжусь этого). Научный директор заявил, что ни о каких пожарах не может быть и речи, что он задыхается от отсутствия людей, знающих языки, и что он забирает меня на разборку трофейных фондов.

Как человек военный я отлично понимал значение слова "трофеи": "трофейная техника", "трофейные знамена", вообще — "боевые трофеи". Правда, последний год войны внес некоторые изменения в семантику этого слова. После того, как наши войска пересекли государственную границу, Сталин издал приказ, разрешающий отправку посылок на родину — солдатам

поменьше, офицерам — побольше. В посылках отправлялись "трофеи": костюмы и примусы, отрезы тканей и будильники, стекла для керосиновых ламп, швейные иглы, белье, кухонная посуда, словом, все то, что привлекало внимание солдата или офицера, оказавшегося в населенном пункте вражеского, а часто и дружественного государства.

Были и другие трофеи. В качестве начальника штаба полка я периодически получал из штаба дивизии приблизительно такие директивы: "В развитие распоряжения Начальника тыла 3-го Украинского фронта №... от... и по распоряжению заместителя командира Эстонского корпуса по тылу вам предлагается в период с января по март 1945 г. представить через дивизионный обменный пункт следующее количество трофеев..." И далее шло перечисление: "Золота и изделий из него с драгоценными камнями или без них...; произведений живописи и скульптуры...; ковров ручной работы...; мужской и женской верхней одежды не бывшей в употреблении...; обуви мужской и женской..." и т. д . и т. п. О книгах в этих распоряжениях не было ни слова.

И вот почти через два года после окончания войны мне предстояло ознакомиться и с этой разновидностью трофеев.

Это было само по себе интересно. До сих пор помню я подозрительные взгляды политработников и уполномоченных пресловутого СМЕРШа, когда они замечали у меня в руках какую-либо иностранную книжку. До сих пор сердце у меня обливается кровью, когда я вспоминаю, как в Чопе — первой советской станции — пограничники, как правило не осматривавшие багаж возвращавшихся в страну солдат и офицеров, увидев на столике купе английский роман, спросили, нет ли у меня и других книг. По глупости, по непростительной наивности, я ответил утвердительно, и меня — точнее, все мои вещи — подвергли тщательному обыску, отобрав все до единой книжки "не на русском языке". Самой страшной потерей была "Британская энциклопедия" в двенадцати, кажется, томах, изящнейшее издание на

тончайшей бумаге, в зеленых сафьяновых переплетах. Осенью сорок четвертого года я подобрал ее из-под солдатских сапог в совершенно разгромленном и частично сгоревшем дворце Палавичини в Румынии. Может быть, я встречусь сейчас с этой "моей" энциклопедией?

Через десять минут на верхнем этаже административного здания Публички я познакомился с сотрудницей отдела комплектования, руководившей в то время этой сложной и ответственной работой. Назовем ее М. Это была милая, уже довольно пожилая дама — во всяком случае с моей тогдашней точки зрения, — в совершенстве владевшая доброй полдюжиной европейских языков. У нее не было специального библиотечного образования и была она то ли из последних "бестужевок", то ли из первых выпускниц ЛИФЛИ. Она и объяснила мне круг моих обязанностей и, частично, прав.

Трофейные книжные фонды из "спасенных" советскими войсками немецких библиотек хранились в ряде пустующих зданий: в бывшей великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости, в бывшей армянской церкви на Невском, в Александро-Невской лавре и где-то еще. Оттуда книги периодически привозились в главное здание библиотеки, где они предварительно сортировались по языкам, по тематике, по времени и месту издания.

— Правда, — добавила М. с быстро скользнувшей улыбкой, — все послереволюционные издания, т. е. вышедшие после 1917 года, сразу поступают в "спецхран" и разбираются уже там.

После первой, "грубой" сортировки, книги поступали в отдел комплектования, где их сверяли с генеральным каталогом и, если данная книга отсутствовала в Публичке, она поступала в фонд. Если же она оказывалась "дублем", то ее вновь возвращали в одно из тех хранилищ, откуда привезли, и тогда только время и счастливый случай могли помочь ей попасть в какую-либо иную библиотеку.

— Да, и еще, — добавила М. — Вы будете работать по безлюдному фонду и...

— Как, как? — спросил я.

— Ну, у нас... — На лице ее отразилось смущение. — У нас нет штатных должностей, а на разборку этого фонда отпущены средства. Это и называется безлюдным фондом.

Признаться, я не понял (как не понимаю и сейчас), почему деньги, выделяемые для оплаты работы, производимой людьми, называются "безлюдными". Я понял лишь, что мне будут платить 5 рублей в час (50 копеек в современном масштабе), т. е. около тысячи в месяц, что было хотя и весьма небольшим, но постоянным заработком. Правда, в роли пожарного я получал бы на 100 или 150 рублей больше, но зато мне пришлось бы иметь дело не с книгами, а с пожарными шлангами и огнетушителями. Правда и то, что "безлюдный фонд" не предусматривал оплаты больничных листков, отпусков, ни даже выдачи продовольственных карточек.

Это было то совершенно бесправное с юридической точки зрения положение, в котором и поныне находятся так называемые "внештатные преподаватели" высших учебных заведений. Студентов много, *штатных* преподавателей не хватает, и вот за счет какого-то "безлюдного фонда" в университетах и институтах трудится огромное количество "внештатных". Они получают от 70 копеек до рубля в час и при нагрузке в 20 часов в неделю (что очень много!), зарабатывают от 60 до 90 рублей в месяц. (Последние цифры даны в "новых" деньгах, т. е. после реформы 1961 года. — Прим. ред.)

М. привела меня в зал на пятом этаже дирекции, заполненный стеллажами, столами и заваленный огромным количеством книг.

Нет, здесь не было и не могло быть отобранной у меня "Британской энциклопедии": я быстро разобрался в этом. Все книги, находившиеся в этом зале или поступавшие в него позднее, принадлежали (вернее, когда-то принадлежали) Бременской, Любекской и Прусской Королевской (Берлинской) библиотекам (объективности ради отмечу, что теперь, работая в австрийских

и немецких библиотеках, я неоднократно встречал книги со штампами советских библиотек).

Разборкой трофейных книг занималось в то время еще четыре человека: две весьма пожилых дамы, некий бойкий молодой человек, работающий в Публичке и поныне, и прелюбопытнейший, хотя и опустившийся, сильно выпивающий П. П.

Чего я только не повидал за эти несколько месяцев: папские буллы на пергаменте или телячьей коже, со свисающими с них высохшими до хрупкости восковыми печатями, первые оттиски гравюр Рембрандта и знаменитой иконографии Ван-Дейка, прижизненные издания Эразма Роттердамского, "Словарь вагабундов" с предисловием Мартина Лютера, автографы Шиллера и Гете, Сэмюэла Джонсона и Свифта. Правда, подобные раритеты встречались не так уж и часто — далеко не каждую неделю. В основном же это был поток "массовой" литературы начиная с XVI века: философские трактаты и жизнеописания царственных особ, переводы греческих и латинских авторов, галантные романы и описания исторических сражений, мемуары куртизанок, отчеты мореплавателей о вновь открытых землях или островах. Иногда проскакивали и "послереволюционные" издания. И будь то "фронтовые очерки" нацистского журналиста или биография Леонардо да Винчи, подобная книга немедленно же, как готовая вот-вот взорваться бомба, отправлялась в "спецхран".

— Леонардо... — разглядывая огромный, великолепно изданный том, как-то очень многозначительно произнес П. П. И, оглянувшись по сторонам, добавил негромко: — В начале тридцатых годов одного эрмитажного Леонардо продали на аукционе.

— Как так? — поразился я.

— Ха!.. Если бы только Леонардо. А сколько Рембрандтов?.. Ван-Дейков?.. Брейгеля Старшего, Тициана, Тинторетто...

— Не может быть! — возмутились во мне все мои патриотические чувства.

С. П. П. у нас сложились отличные отношения.

Несколько раз, получив наши "безлюдные деньги", мы ныряли в знаменитую тогда забегаловку "На углу Невского и Шампанского" и, взяв по стаканчику, пускались в доверительные беседы. Он не боялся откровенничать со мной.

Из очень хорошей семьи, П. П. кончал Александровский лицей, но в шестнадцатом году ушел вольноопределяющимся на фронт. Февраль он встретил уже прапорщиком, у Деникина получил поручика и тут — неисповедимы пути Господни! — переметнулся к красным.

Ни пользы, ни выгоды это ему не принесло. После конца войны он долго бедствовал, в середине 20-х годов устроился, наконец, реставратором в Эрмитаж и проработал там до начала тридцатых, когда его схватили как "социально-опасный элемент". Дальше были и Соловки, и Беломорканал, и БАМ, но он чудом выжил, даже смог реабилитироваться и вернуться в Ленинград. Впрочем, реабилитация не спасла его в сорок девятом году от "повторного потока", и до смерти Вождя Народов он пробыл в ссылке в Енисейске, перебиваясь тем, что учил местных митрофанушек английскому и французскому языкам.

Последний раз встретил я П. П. года полтора назад, уже совершенно дряхлого, но все еще большого любителя "заложить за галстух", которого, впрочем, он никогда не носил. Однако еще тогда, во время нашей совместной работы, рассказал он мне о том, как в конце 20-х — начале 30-х годов распивочно и на вынос распродавались на международных аукционах картины из Эрмитажа, бесценные севрские, датские и веджвудовские сервизы из царских и великокняжеских дворцов, и как оптом, практически за бесценок, была продана уникальная филателистическая коллекция Николая Второго.

Сообщения эти с трудом вмещались в моем уже накренившемся, но все еще весьма большевизированном мозгу. Однако, работая в Публичной библиотеке, проверить достоверность сообщений П. П. было проще

простого: стоило лишь сравнить каталоги Эрмитажа разных лет: дореволюционные, двадцатых годов, современные. Надо сказать, что эта несложная работа сильно поколебала мою уверенность в том, что "искусство принадлежит народу".

Вскоре этой уверенности был нанесен еще один и на этот раз сокрушительный удар.

В нашем зале время от времени появлялся чистенький, всегда очень вымытый и отутюженный старичок. Впрочем, "старичком" он казался мне тогда — было ему, вероятно, пятьдесят или несколько больше, — но произвел он на меня впечатление не столько своими сединами, сколько удивительной в те времена опрятностью и накрахмаленностью. Это был Люблинский — заведующий отделом редкой книги, который назывался еще то "Гутенберговским кабинетом", то "кабинетом доктора Фауста".

Появляясь в зале, Люблинский быстрым шагом проходил между стеллажами, зорко оглядывая корешки книг. Иногда он вдруг задерживался перед какой-то полкой и точным движением вынимал одну из книг. Это была снайперская стрельба без единого промаха: всякий раз в его руках оказывалась какая-то редкость: то "Гептамерон" Маргариты Наваррской, то конволют Даниэля Гейнзиуса, редчайшая пергаментная Альдина или "Декамерон" Боккачио, изданный Бальдафером.

Однажды М. попросила меня помочь Люблинскому в качестве "грубой рабочей силы". Я спустился в первый этаж главного здания, нажал кнопку звонка всегда закрытой двери и через плечо Люблинского впервые увидел это хранилище, стилизованное в духе средневековых монастырских библиотек.

— Извините, что я вас беспокою, — сразу начал Люблинский. — Сегодня нет рабочих, а мне необходимо поднять снизу кое-какие книги. Только... — Он бросил взгляд на мой армейский китель. — Сейчас я достану халат.

Через ряд зал и хранилищ, по каким-то сырым и грязноватым лестницам мы спустились в подвал и

оказались в темном, уже совершенно сыром помещении, в котором на деревянных помостах слева и справа были грудами свалены бесчисленные тома ''ин фолио'', ''ин кварто'', ''ин октаво'' в почерневших кожаных переплетах. Шли мы по жидким деревянным мосткам, под ними хлюпала вода, в воздухе стоял запах тления и смерти. Я ломал себе голову, пытаясь понять, почему эти редкие и редчайшие книги — у меня уже был наметан глаз — хранятся в столь неподходящем месте.

Люблинский, видимо, заранее наметил, что и где надо взять, мы почти не останавливались и совершили три или четыре рейса с полными охапками отсыревших, иной раз тронутых плесенью книг. Мы шли подвалами в очередной рейс, когда Люблинский, шедший впереди, вдруг сделал странный, почти акробатический прыжок назад и, упав на колени, принялся рассматривать тяжелую дубовую доску, заполнявшую разрыв между сосновыми мостками. Мы оба наступали на эту доску уже несколько раз, в ней не было ничего примечательного, но Люблинский вдруг опустил свои белоснежные накрахмаленные манжеты в эту черную, вонючую воду, поднял доску, и я услышал сдавленный стон, почти рыдание.

— Что случилось? — спросил я.

Люблинский повернулся ко мне, держа перед собой доску, вода стекала с нее, манжеты, были почти черные, но его лицо — я увидел это даже в полумраке этого склепа — покрылось смертельной бледностью.

— Боже мой... — услышал я. — Мазарини... Боже мой... Какое безумие!

Как сомнамбула он двинулся вперед, прямо на меня, я едва успел посторониться, и направился к выходу. Держа пять или шесть книг, которые он успел мне вручить, я поплелся за ним. Мы поднялись наверх, по лестницам, по коридорам, по хранилищам, встречные провожали Люблинского удивленными, испуганными взглядами, а я, следуя за ним, видел только его сгорбившуюся спину и черные капли воды на полу, которые вдруг напомнили мне капли крови, оставленные раненым.

В кабинете он положил свою ношу на стол осторожно, как драгоценность, как больного ребенка, и только тут я рассмотрел, что доска была огромной и очень древней книгой.

— Извините, — сказал он, не поднимая головы. — Большое спасибо...

Закрывая за собой дверь, я увидел, как он чутким движением минера, ожидающего неожиданного взрыва, поднимает верхнюю доску переплета.

...Этот день был очередным выплатным днем, и, получив наши "безлюдные деньги", мы с П. П. нырнули в "Шампанское". Я рассказал ему о сегодняшнем событии.

— Что-о?.. Ма-за-ра-ни? — произнес он, и глаза его засверкали. — Этого следовало ожидать... В этой стране может произойти все, что угодно! Вы знаете, что такое "Мазарини"? "Библия Мазарини"?

Я признался, что впервые слышу это название.

— Это так называемая "сорокадвухстрочная Библия" Гутенберга, то есть та книга, изданием которой началась история книгопечатания. Сохранилось их семь или восемь экземпляров, и каждый из них стоит миллионы золотом. Но вы представляете, к а к эта Библия попала в подвалы?

И вот тут-то я услышал историю, в центре которой был тот самый карниз, с которого и начался этот рассказ.

Весной 1945 года в Ленинград пригнали два или три эшелона книг, вывезенных немцами из зоны интенсивных англо-американских бомбардировок и попавших в руки советских войск. Книги были упакованы в добротные ящики, которые временно развезли по пустующим церквям. Шла война, разбирать книги было некому, ящики горами стояли на своих местах, время от времени заливаемые дождями или тающим снегом: о ремонте крыш или окон в этих зданиях, поврежденных в годы блокады и войны, и уж вовсе не было речи. Правда, никем не охраняемые, церкви эти привлекали внимание окрестных мальчишек. Они проникали внутрь,

подальше от взглядов взрослых, и устраивали там то игры, то попойки, а то и пожары.

Но в эшелонах оказалось еще несколько вагонов, заполненных не деревянными, но цинковыми, герметически запаянными ящиками. В них хранились особенно ценные книги, инкунабулы, манускрипты. Эти ящики поместили в подвалах Публички: вода была им не страшна.

Но вот война кончилась, Ленинград чуть-чуть, самую малость вздохнул, и тут отцы города решили проявить о нем отеческую заботу. Тогда и возникло явление, которое вошло в историю строительного искусства под названием "косметического ремонта". Название было точным: как молодящаяся старуха прикрывает слоем пудры и румян свои морщины, слоем штукатурки и краски подновляли снаружи ветхие, иной раз готовые развалиться дома.

В число таких "объектов" попала и Публичка. Фасад подновили, подправили лепные украшения и карнизы, но никому и в голову не пришло заняться крышей, изрешеченной осколками бомб и снарядов. Дождевая вода в силу своего естества проникала в эти дыры и медленно, неторопливо делала свое дело. Заливала она не только чердаки и верхние помещения библиотеки, но и карнизы, один из которых вскоре и обвалился — как раз в тот злополучный момент, когда под ним проходила супруга партийного босса.

Подобные случаи происходили в Ленинграде в те годы довольно часто, но ими трудно было удивить людей, переживших блокаду с ее голодом, артобстрелами и бомбежками. Пожимали плечами: "Ну, не повезло человеку!.." Но тут вдруг создали специальную комиссию, которая сразу же и установила, что виной всему дырявая крыша.

Заместителю директора накрутили хвост, сняли с него, как и полагается, стружку, пообещали стереть в яичный порошок и приказали: кровь из носа, но чтобы была новая крыша!

Как известно, кровь из носа добыть куда как

проще, чем кровельное железо на снабженческой базе. Если железо и было, то разве для исторического Смольного да для домов, занимаемых самым высоким начальством. И вот тут-то, обходя однажды свои владения, ведущий хозяйственник библиотеки увидел в подвале цинковые ящики и, подобно Архимеду, воскликнул: Эврика! Этого цинка хватит на всю крышу!

Правда, сразу же возникла новая проблема: что делать с книгами, хранящимися в этих ящиках? Простейшим решением было бы соорудить в подвалах стеллажи и временно (опять же "временно"!) разместить книги на них. Но где взять доски для стеллажей?

Советского хозяйственника всегда выручает сочетание русского размаха с американской деловитостью. Выручили они и на сей раз: в дело пошли деревянные ящики, в которых находились "простые", "ничем не примечательные" книги. Сработал великий закон советской экономики, известный под названием "Тришкин кафтан".

Вот, собственно, и вся история. Остается лишь добавить, что в 1850 году библиотекарь Императорской публичной библиотеки, будущий ее директор и академик, Афанасий Федорович Бычков по высочайшему повелению купил на парижском аукционе "Библию Мазарини", заплатив за нее 40 тысяч франков. Т е х, весомых, золотых франков. В 1932 году эта Библия была продана на аукционе в Стокгольме за 40 тысяч долларов, то есть, если учитывать падение стоимости и доллара, и франка, приблизительно за одну десятую своей первоначальной цены.

Может быть, это и был тот самый экземпляр, который Люблинский обнаружил в подвале? Он был непоправимо испорчен.

Теоретически можно себе представить, что на каком-то аукционе вновь появиться "Библия Мазарини". Ее возможную стоимость нельзя даже вообразить.

Сколько стоит храм Василия Блаженного? Покрова на Нередице? Во что идет сегодня народная душа?

НЕЗАПИСАННЫЙ РАССКАЗ ЗОЩЕНКО

Писателя Михаила Зощенко я знал с раннего детства, постоянно читал его великолепные рассказы, слышал их с эстрады в исполнении таких блестящих актеров, как Хенкин, Гаркави и Яхонтов, а в юности, начиная писать, пытался даже — весьма неуспешно! — подражать ему.

Однако с Михаилом Зощенко — ЧЕЛОВЕКОМ — я познакомился много позже, всего за несколько лет до его смерти. К этому времени я уже давно понимал, что представление советского обывателя о Зощенко как о "юмористе", "смехаче" столь же близко к истине, как утверждение, что Достоевский — автор детективных романов.

Творчество Зощенко глубоко трагедийно, ибо во внешне легкой, незатейливой форме и строго в границах, допущенных свирепой цензурой, он сумел показать внимательному читателю, что произошло с русским мужиком, вытолкнутым из деревни вихрем революции. Его герой оказывается в глубоко враждебном и непонятном ему городе. То он пытается приспособиться к новой жизни, как-то адаптироваться в чуждой ему среде, и автор, посмеиваясь, сочувствует этому герою, иной раз даже дает ему добрые советы, то герой стремится подчинить себе этот нелепый мир с его ненужной культурой и непонятными традициями. Начав приобщение к "цивилизации" с театрального буфета в знаменитой "Аристократке", герой Зощенко в наши дни

* Впервые напечатан в ж-ле "Континент" № 21, 1979 г.

занимает высочайшие государственные посты и то стучит башмаком по пюпитру в Объединенных Нациях, то повествует человечеству о своих боевых и гражданственных подвигах в "мемуарах", написанных за весьма сходную цену титулованным литературным негром. Куда там до него шолоховскому двадцатипятитысячнику Давыдову, который, несмотря на поддержку мощнейшей государственной машины, потерпел — в исторической перспективе — сокрушительное поражение! И э т о г о своего героя Зощенко глубоко презирает.

Крупнейший Специалист По Всем Идеологическим Проблемам, А. Жданов, если оставить в стороне позорно хулиганский тон его выступления по поводу журналов "Звезда" и "Ленинград" в 1946 году, был достаточно сообразителен, чтобы ухватить эту особенность творчества Зощенко, но, может быть, были у него и более умные предшественники, которые поняли это значительно раньше, потому что достаточно зловещие признаки подозрительного отношения властей к писателю проявились задолго до ждановского "доклада".

Об этом рассказал мне сам Зощенко года за два до смерти, в форме прелестной небольшой новеллы, никогда и нигде не опубликованной и, возможно, вообще им не записанной.

Однажды летом 1956 года мы прогуливались с ним по песочному пляжу Сестрорецка недалеко от скромной дачи Зощенко. Я не помню уже, что именно послужило поводом или толчком, побудившим Михаила Михайловича к этому рассказу, но вот как он прозвучал:

...Это случилось много лет назад, — говорил Зощенко своим глуховатым, неторопливым голосом. — Я был в зените славы, журналы и издательства охотились за мной, и не было такой эстрады, с которой не звучали бы мои рассказы.

И я очень любил одну женщину. Она тоже любила меня, но у нее был муж, он был страшно ревнив, и поэтому мы встречались чрезвычайно редко: на премьере в театре, в филармонии, у общих знакомых. Мы

обменивались двумя-тремя фразами, иногда только взглядом, и тут же расходились, так как поблизости немедленно возникал ее муж.

Но вот однажды она встретила меня радостной улыбкой и сообщила, что ее отпускают отдохнуть. Она приедет в Ялту в начале августа и, если только я смогу, она будет очень рада встретиться со мной там. И мы условились, что сразу по приезде она сообщит мне свой адрес в письме до востребования на ялтинскую почту.

Я был чрезвычайно занят в то время, я готовил к изданию одну книгу, заканчивал работу над другой, у меня были еще какие-то обязательства, но я бросил все и к первому августа примчался в Ялту. Как это ни глупо, я сразу же отправился на почту. Конечно, писем мне не было.

Я не помню, как я прожил оставшиеся два дня, но на третий день я пришел на почту за несколько минут до ее открытия. Писем мне не было.

Я зашел на почту еще вечером, и на следующий день, и еще, и еще, но всякий раз барышня, сидевшая у окошка за стеклянной перегородкой, заглянув в свой ящик, отрицательно качала головой: "Вам ничего нет".

И вот после какого-то очередного посещения почты я, наконец, понял в чем дело: письмо затерялось. Одно письмо среди сотен и сотен других попало в какую-то другую ячейку и лежит теперь там, пока случайно не обнаружится и не вернется на свое место. Но вот если бы на мое имя пришло еще одно письмо, то они, эти два письма, вероятно, сразу бы нашли друг друга...

Идея была глупая, но я почему-то сразу же уверовал в нее. Я купил конверт, вложил в него кусок газеты, надписал: "Ялта, почтамт, до востребования, М. М. Зощенко" — и опустил в ближайший почтовый ящик.

На следующий день я пришел на почту в состоянии тревожного и радостного ожидания, как игрок, высчитавший все свои шансы на выигрыш и поставивший на карту все свое состояние.

Писем мне не было.

Я растерялся. Что за черт?! Не могло же затеряться и второе письмо! Это второе письмо шло не из Москвы, не из Харькова, даже не из Симеиза: я опустил его в десяти шагах от входа в почтамт. Я терялся в догадках и совершенно не мог понять, ни что происходит, ни что мне надлежит делать. Не мог же я, в самом деле, поднять скандал и заявить, что всего лишь накануне я опустил вот в этот почтовый ящик письмо самому себе...

Когда я пришел на почту на следующий день, барышня еще издали заметила меня, заулыбалась и встретила меня словами: "Вам письмо!"

Увы, я сразу узнал его: я отправил его два дня назад.

Я провел в Ялте еще с неделю, ежедневно наведываясь на почту, и, так и не дождавшись письма, уехал...

...Прошло несколько лет. Я очень любил одну женщину, она любила меня, но у нее был ревнивый муж и еще более ревнивый любовник, поэтому мы не встречались вовсе. Лишь изредка я видел ее издали, когда после спектакля она выходила из Мариинки или оказывалась на крыше "Европейской", а то появлялась на вернисаже какого-нибудь художника, но всякий раз под неотступным наблюдением.

Я был очень несчастен, мне скверно работалось, и поэтому когда мне предложили литературную поездку по югу России, я с радостью согласился. Я побывал в Харькове, в Сталинграде, в Саратове, где-то еще, а середина лета застала меня в Ростове-на-Дону. Как всегда, я остановился в "Деловом дворе", старой купеческой и довольно удобной гостинице. Днем я работал у себя в номере, а по вечерам выступал с чтением своих рассказов в рабочих клубах и дворцах культуры.

Однажды в середине дня я спустился вниз в ресторан — ну, вы, конечно, знаете этот большой, высокий двухсветный зал, — и вдруг с порога увидел *ее*. Она сидела одна за угловым столиком, и перед нею был лишь один прибор. На всякий случай я посмотрел направо, посмотрел налево, но не увидел ни ее мужа, ни ее

любовника. Тут и она заметила меня, улыбнулась и легким движением указала на место рядом с собой.

Выяснилось, что она только этим утром приехала в Ростов, что у нее должны быть два или три концерта, после чего она сразу же возвращалась в Ленинград.

Мы пообедали вместе, потом поднялись в ее номер, и я провел там несколько самых счастливых часов в моей жизни...

Был уже вечер, когда зазвонил телефон. Она сняла трубку, зазвучал мужской голос, на лице ее отразилось удивление: "Это вас, Миша'!"

Говорил директор Дворца культуры завода "Ростсельмаш". Было совершенно непонятно, как он нашел меня в этом номере. "Михаил Михайлович, вы, вероятно, забыли, что сегодня вы выступаете у нас. Уже двадцать минут восьмого, зал набит до отказа, и публика начинает волноваться..."

Я ответил, что очень скверно себя чувствую, что я очень, ОЧЕНЬ прошу моих слушателей извинить меня и что я готов выступить перед ними завтра и послезавтра, но только не сегодня.

"Но, Михаил Михайлович, — продолжал настаивать директор, — поймите же, что вас ждут восемьсот лучших ударников нашего завода. Они давно мечтали о встрече с вами, и вдруг..."

Я еще раз повторил, что очень скверно себя чувствую, что сегодня никак не могу приехать, и положил трубку.

Моя дама посмотрела на меня внимательно и с некоторым любопытством.

— Скажите, Миша, — заговорила она вдруг. — Как вы, так любящий славу, так много делающий для нее, — как *вы* можете отказаться от встречи с почти тысячей ваших почитателей? Я, например, просто неспособна на это.

Я очень удивился. Я не могу сказать, что я совершенно безразличен к тому, что называется славой и что связано с нею. Но я никогда и ничего не делал для нее. Я делал то, что считал своим писательским долгом, я

писал о жизни так, как я ее видел и понимал, и если случилось, что мои писания принесли мне славу, то это, видимо, объяснялось тем, что мои рассказы раскрывали людям что-то такое, что было им близко и понятно, что трогало или смешило их. С чего она взяла, что я делаю что-то специально для славы?

И тут неожиданно выяснились удивительные вещи. Тут выяснилось, что ее муж работал в НКВД, в отделе, который наблюдал за искусством и литературой. Более того, он занимался непосредственно мною, и в то памятное лето, когда я ежедневно бегал на ялтинскую почту, он тоже — случайно или не случайно — оказался в Ялте.

И вот в руки НКВД попало мое письмо, то самое, которое я отправил самому себе. Его вскрыли, извлекли обрывок газеты и принялись его изучать. Они пытались обнаружить симпатические чернила, они рассматривали этот обрывок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, они разглядывали его с помощью лупы в надежде найти надколотые буквы, с помощью которых кто-то пытался передать мне какое-то сообщение. Конечно, они ничего не нашли и терялись в самых невероятных догадках.

И тут муж моей дамы еще раз взглянул на конверт, узнал, наконец, мой почерк и сразу понял, в чем дело: Зощенко, приехав в Ялту и обнаружив, что местные газеты ни словом не обмолвились об этом событии, решил написать письмо самому себе с тем, чтобы почтовая барышня, прочитав имя адресата, оповестила бы о его приезде всех его ялтинских поклонниц и поклонников.

Трудно было придумать что-либо глупее!

И вот в то время, когда имя Жданова вряд ли было кому-либо известно, за много-много лет до всех тех несчастий, которые произошли со мною и лишили меня возможности работать в литературе, это фантастическое, непостижимое внимание ко мне со стороны НКВД вдруг открыло мне глаза: я понял, что нахожусь в неразрешимом конфликте с обществом, в котором живу.

...Вернувшись домой, я сразу же записал этот рассказ. Естественно, что я нигде не мог его опубликовать — даже после смерти Зощенко. Несколько лет он пролежал у меня в столе, но вот в июне 1960 года ко мне явились не столько нежданные, сколько незваные гости: шесть гебистов в сопровождении обязательных понятых. Среди изъятых рукописей оказалась и запись приведенного рассказа. Позднее, в ходе следствия, и следователь Кривошеин, и начальник следственного отдела полковник Рогов неоднократно пытались добиться признания, что этот рассказ — еще одно свидетельство моей злобной клеветнической деятельности. Однако через два месяца, когда следствие было закончено, рассказа не только не оказалось в томе "вещдоков", но он даже не упоминался в обвинительном заключении.

— А куда же делся рассказ Зощенко? — спросил я следователя.

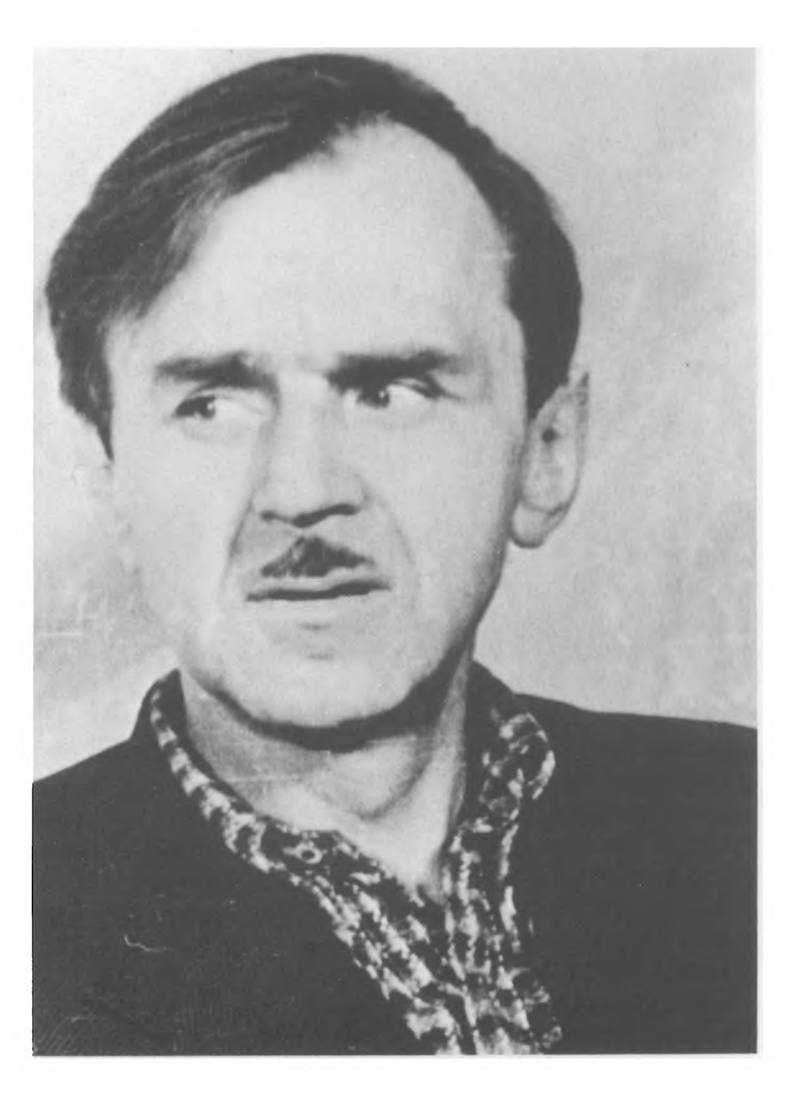
— А-а!.. — Он неопределенно махнул рукой. — Это не имеет значения.

Однако еще два или три дня спустя мне предъявили часть изъятых у меня бумаг и книг, не приобщенных к делу, но и не подлежащих возвращению. Среди них был и этот рассказ Зощенко. Еще позднее мне предъявили акт о сожжении этих документов и книг как не представляющих ценности.

Я сделал единственно возможный вывод: Зощенко рассказывал эту историю не только мне, и кто-то из допрошенных по моему делу свидетелей подтвердил это. По непонятным причинам этого показания я не нашел ни в одном из протоколов допроса. Или, напротив, по понятным причинам — КГБ почти никогда не приобщает к делу протоколы допросов своих осведомителей.



1. Подполковник К. В. Успенский в 1945 г.



2. Писатель К. В. Косцинский в 1958 г.



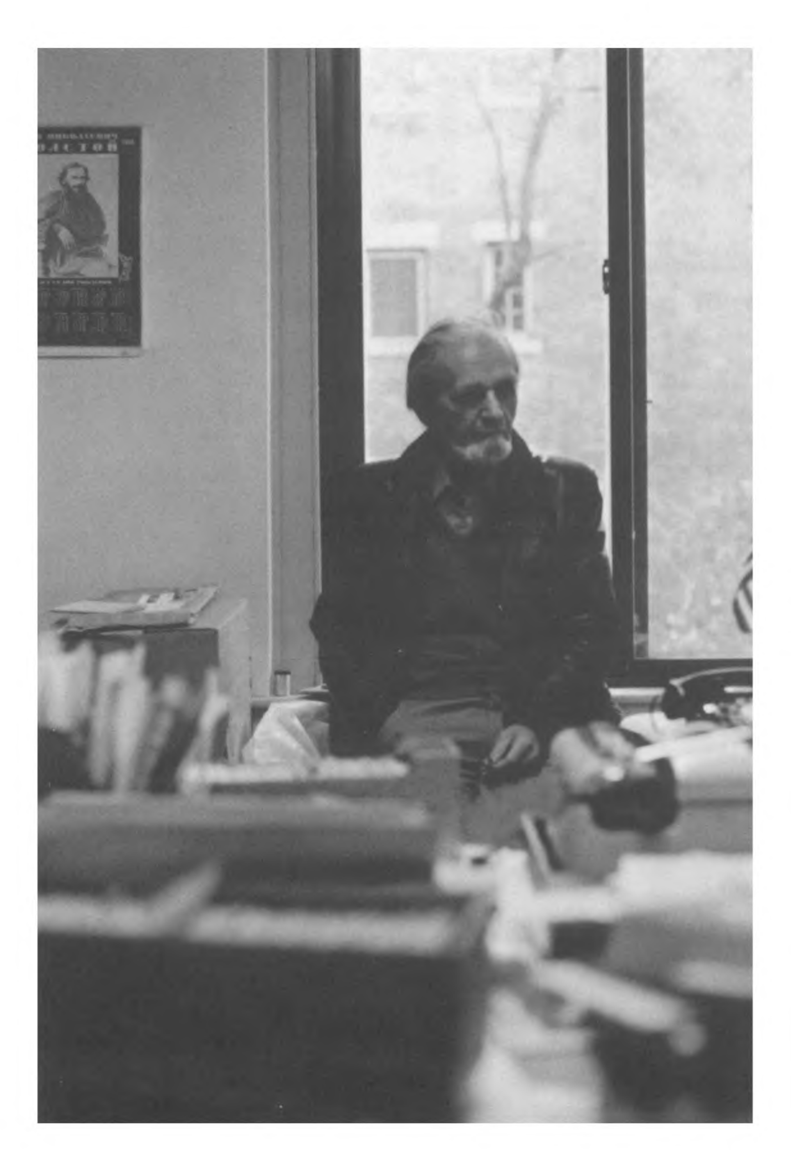
3. Заключенный К. В. Успенский в 1961 г.



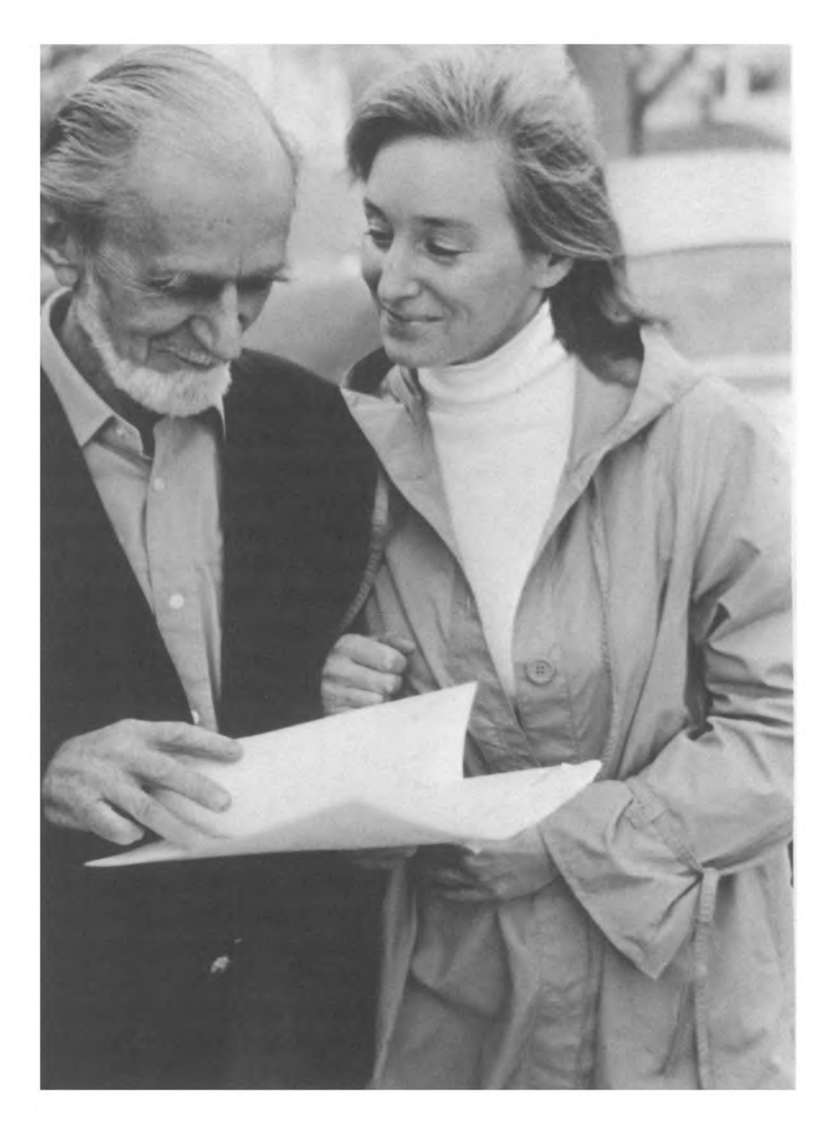
4. Переводчик К. В. Косцинский в своей ленинградской квартире на канале Грибоедова в 1970-е

5. Первое знакомство с американской техникой...

6. ...и с американской прессой



7. В Русском исследовательском центре Гарвардского ун-та



8. К. В. Успенский с женой, Джоан Синдал (1980-е)

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти ушедшего друга.
Проф. Адам Улам, И. Ефимов, В. и Т. Турчины v

Не верь, не бойся, не проси 1

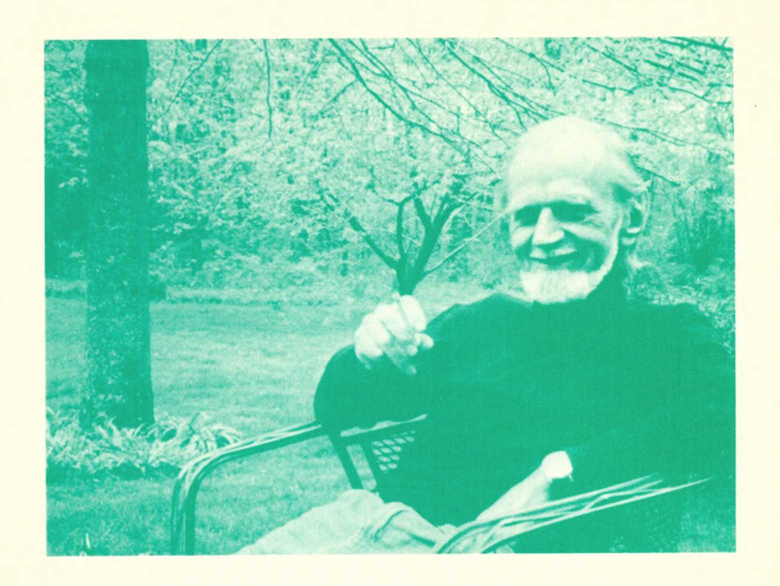
Комитет 05 96

Иоганн Гутенберг и другие 105

Незаписанный рассказ Зощенко 117

Иллюстрации 124—130





Сын видных революционеров, выпускник Военной академии, боевой офицер, украшенный многими орденами, – казалось бы, никаких оснований для конфликта с советской властью у КИРИЛЛА УСПЕНСКОГО (КОСЦИНСКИЙ – литературный псевдоним) не могло быть. Но у советской тайной полиции есть безошибочное чутье на смелость, честность, благородство. И она нащупала обладателя этих опасных качеств уже в 1944 году, отравляла ему жизнь в послевоенные годы, упрятала в тюрьму и лагерь в 1960-ом (хрущевская оттепель), не оставляла своими заботами и потом, пока не вынудила к эмиграции в 1978.

Работу над главным делом своей жизни – "Словарем русской ненормативной лексики (Словарем слэнга)" – Кирилл Косцинский заканчивал уже в научном центре Гарвардского университета. Его воспоминания – яркий трагикомический рассказ о жизни под "недремлющим оком", в качестве эпиграфа к которому можно было бы взять лозунг-объявление, висевшее в квартире писателя в Ленинграде: "Будь осторожен! В этом доме аукнется – в Большом доме откликнется".

$ 8.50

ISBN 0-938920-91-X